
Светлой памяти стоявших некогда у колыбели Дарвиновского музея

1960

Александр Федорович Котс

Вместо предисловия

«Как только мы рождаемся, мир начинает влиять на нас и так до конца нашей жизни.»

«Что же мы можем назвать своим собственным, кроме энергии, силы, желания?»

И.П. Эккерман. Разговоры с Гете. — Академия. 1934. Стр. 282

«Ведь в сущности и все мы коллективные существа, что бы мы о себе не воображали. В самом деле: как незначительно то, что в подлинном смысле слова могли бы назвать своей собственностью.»

«Мы должны заимствовать и учиться как у тех, которые жили до нас, так и тех, которые живут с нами...»

Там же, стр. 844.

Памяти Надежды Константиновны Крупской

28 ноября 1957

Решаясь поделиться своими более, чем скромными воспоминаниями о моих встречах с Надеждой Константиновной, я ограничусь только самой ранней из этих встреч, относящейся к середине лета 1918 года, вскоре после переезда Советского Правительства в Москву.

Незадолго перед тем и только благодаря Октябрьской Революции я получил впервые замкнутое помещение для Дарвиновского Музея в одной из аудиторий Московских Высших Женских Курсов, которым Музей мой в дарственном порядке был мною передан в 1913 году.

Достаточное для учебных целей это помещение было совершенно непригодно для музея массового типа, каковым я его мыслил с самого его основания мною, мальчиком- подростком в 1896 году.

— «Да обратитесь к Крупской, она ведаёт сейчас делами Главполитпросвета, значит и музеями!» — так посоветовал мне дружески расположенный ко мне народный Комиссар Московской Области, астроном **П.К. Штернберг**, так заботливо оберегавший мой Музей повторной выдачей «Охранных Грамот» на редкие в то время случаи проверки учреждений.

Не будучи партийным, но работая «с большевиками» (как выражались в ту пору..) с первых дней установления Советской Власти, я, уверенный, что лишь при ней Музей мой сможет стать музеем «массового типа», не преминул воспользоваться дружеским советом.

Помещался Главполитпросвет в то время на Пречистенке (ныне улице Крапоткина), по Денежному переулку, в большом особняке (ныне занятом Китайским Посольством) и, как и все тогдашние правительственные учреждения, носил следы недавнего вселения, представляя смесь былой никчемной барской мебелировки и сменяющей ее канцелярской, деловой новых хозяев.

Помнится, как в первый раз войдя в великолепный зал с громадным, во всю стену, вычурным окном, я внутренне немного волновался в ожидании возможной встречи с самым близким другом и сотрудником Владимира Ильича.

Но с первого же обращения к молодой приветливой сотруднице я сразу же почувствовал себя не в положении «просителя», а в роли человека, связанного общим делом с данным учреждением.

На мой вопрос, могу ли я рассчитывать быть принятым Надеждой Константиновной, сотрудница, не спрашивая зачем и для чего, просто ответила: «Сейчас узнаю!» и направилась в одну из смежных комнат.

Не прошло минуты, как вошла сама Надежда Константиновна.

Гладко причесанная, в скромном темном платье, без болезненной позднее полноты, она имела вид опытной городской учительницы и не верилось, что предо мною человек, так верно-преданно долгие годы разделявший героический путь жизни **Ленина**, если бы не глубокий, вдумчивый, проникновенный ее взгляд, — манящий отсвет жертвенной и величавой жизни, отданной служению Народу.

И как проста-непритязательна была наружность, так же непосредственно и просто было обращение ко мне Надежды Константиновны. Присев на стул, рядом со мной, тут же у входа в зал, Надежда Константиновна стала участливо выслушивать мой несколько бессвязный рассказ о моем деле, о музее Дарвина.

Просил я о содействии переводению его в другое здание, более обширное, пригодное для широчайшего обслуживания широких масс; указывал, что оставаясь только «вузовским» музей не может дать народу то, на что народ имеет право... говорил о роли Дарвинизма, как естественно-научной базы для научного мировоззрения.

Не помню ныне, по прошествии почти сорока лет, об ответных репликах Надежды Константиновны. Но помню, как свободно чувствовал я себя при беседе с ней, как будто разговаривал я с давним знакомым по вопросу, ему столь же близкому, как и мне: так чутко, так внимательно и так участливо были восприняты мои слова, с таким безоговорочным сочувствием.

Ни тени «ведомственного» формализма...

С крепким рукопожатием простившись с Надеждой Константиновной, я уходил из Главполитпросвета с радостным сознанием, что Музей мой приобрел в нем нового, влиятельного друга.

Жизнь подтвердила это радостное ожидание, когда день спустя от имени Н.К. Крупской нас посетила в роли Комиссара милая тов. **Познер**.

Было совершенно очевидно, что за ее дружеским, отзывчивым, товарищеским отношением к музею и обоим нам — мне и моей жене и сосоздательнице Музея, Над. Ник. Ладыгиной-Котс — стояла «тьень» Надежды Константиновны.

По крайней мере в первую же очередь поставлен был вопрос о том, чтобы перевести Музей в другие стены. И ближайшие же дни были посвящены подыскиванию свободных зданий, находившихся по близости и временно пустовавших в полуобезлюдной Москве.

Воспользоваться этими домами, впрочем, так и не пришлось, как из-за крайней их запущенности, так и потому, что о ремонте их в ту пору говорить не приходилось.

Тем не менее, не без участия тов. **Познер** удалось немного погодя значительно расширить помещения Дарвиновского музея, занимая постепенно ряд обширных залов, расположенных в трех этажах, — в которых и поныне располагается Музей.

И повторяю, более, чем вероятно, что за этой энергичной помощью комиссара Познер, ее ценной, дружеской, товарищеской помощью невидимо стояла дружеская направляющая рука Надежды Константиновны.

В течение последующих лет мне относительно нечасто приходилось видеться с Надеждой Константиновной, поскольку с учреждением особых двух отделов Наркомпроса («Главнауки» и «Главмузея») Дарвиновский музей утратил ведомственную связь с Отделом, управлявшемся Надеждой Константиновной.

И все же то участие, которое так просто и отзывчиво было проявлено когда-то ею, в первые месяцы Советской власти в отношении Дарвиновского Музея, навсегда останется в его анналах, как прекрасный памятник и как наглядное свидетельство того, с каким вниманием, как бережно, без тени формализма, относилась Власть Советов к делу демократизации науки и народного образования в эпоху небывалых трудностей, в эпоху надвигавшейся блокады, времени гражданских войн, эпохи надвигавшегося тифа, холода и голода.

Заканчивая мои скромные, но светлые воспоминания о Надежде Константиновне, я склонен высказать одно лишь пожелание.

Чтобы по водворении Дарвиновского Музея в заново построенном для него обширном здании, среди миллионов будущих его восторженных посетителей, из поколения в поколение предавалось светлое предание, что когда-то, в самую решающую, трудную и героическую пору для Страны Советов, в первые месяцы молодой Советской власти, возле «колыбели» Дарвиновского Музея, как крупнейшего у нас Естественно-Научного Музея массового типа и как «Детища Великого Октября» — стояла скромно и безвестно для Советского Народа — верная соратница трудов и жизни **Ленина** — **Надежда Константиновна Крупская**.

Основатель (1896) и Директор Дарвиновского Музея в Москве доктор биологических наук

28.XI.57.

/Профессор Александр Фед. *Комс*/

МОСКВА 21. — Гос. Дарвиновский Музей

Павел Карлович Штернберг

Парафразируя слова, когда то сказанные по совсем другому поводу, возможно выдвинуть простой моральный тезис:

«В жизни отдельных лиц, как в судьбах целого народа, могут наступать моменты и события, служащие поверкой нравственных, моральных сил народа и отдельного лица, поверкой сил, с которыми приходится встречать событие и претворять его.»

Таким суровым испытанием для нашей Родины явилась в свое время наша Революция, великий «Судный День» для нашего народа и еще неумолимее для жизни каждого из нас.

Вопрос поставлен был с предельной ясностью.

Формально и «партийно» — парафразой истины двухтысячелетней давности, а в сущности, сводясь к дилемме: претворить безоговорочно дела и знания каждого лица на пользу и преуспевание народа, оплатить служением ему свой «жизненный Билет», или сойти с дороги тем, которые не склонны к этому служению.

Но кристально-ясная по существу эта дилемма осложнялась, как известно, разным толкованием задачи, содержания и объема этого служения, как и практических приемов, или способов «взимания» этих «жизненных оплат».

Но тем бесспорнее и проще оказалось разрешение этого вопроса там, где основные цели и содержание нашей Великой Революции — предельное служение Народу, понимались в чистом виде, вне партийных разногласий, оговорок, или установок.

Именно в подобной ситуации почувствовал себя в канун Великой Революции наш Дарвиновский Музей: по самой сущности своей он тяготился ролью «Вузовского» лишь Музея и рвался к служению народу, к званию Музея массового назначения.

Эта уверенность, что только при Советском строе мой Музей сумеет стать «народным» побудила меня с первых дней Советской власти стать ее активным, пламенным сторонником, добавлю: не в пример громаднейшему большинству профессорского персонала, большая часть которого принадлежала к «кадетской партии», стояла в лучшем случае лишь на позиции «выжидательной».

И вот, на фоне этой корпорации, столь несозвучной новой ситуации, тем неожиданнее выступила с первых дней Советской власти и всецело на ее платформе, яркая фигура одного из самых видных представителей профессорской коллегии: астроном Павел Карлович **Штернберг**.

Рослый, видный, с пышной шевелюрой «Скандинавского бога» Павел Карлович десятки лет, работая бок о бок с прочими профессорами Университета и на Высших Женских Курсах, никогда ничем не выдавал своей причастности к «большевикам».

Тем более ошеломляющем явилась весть о непосредственном участии почтенного профессора в Октябрьских боях и, в частности, известие (быть может и апокрифичное..) о том, что при захвате, штурмовании Кремля — первую пушку будто бы направил Штернберг, руководствуясь астрономическими вычислениями.

Этот портрет профессора-астронома-большевика был бы неполным, если к сказанному не добавить, что за властной и суровой внешностью виднейшего партийного работника не укрывалась замечательная доброта и мягкость личного характера.

И только этим личным обаянием Штернберга возможно объяснить ту теплоту и ту сердечность, что внесли им в его сношения со мной, в ту пору молодым ученым без ученой степени, без стажа, без академического звания.

Привлекала ли его моя оторванность от всей тогдашней профессуры, или мой активный, подлинный демократизм, моя страсть к общению с рабочим людом, — но едва успели отгреметь Октябрьские пушки, как установились самые короткие, простые отношения между Штернбергом, известным по Москве профессором и мною — молодым доцентом.

Помнится, как именно в описываемую пору я впервые получил отдельные два зала в Аудиторном корпусе, для размещения Дарвиновского Музея, до того ютившегося по коридорам. И пока я занят был переводением шкафов Музея, Павел Карлович нередко заходил в так наз. «Малый зал» и дружески «беседовал со мной, как будто возмещая этими беседами бойкот, негласно проводимый в отношении его со стороны былых его коллег.»

При всей своей партийной убежденности и неуступчивости, Штернберг словно все еще надеялся на «обращение» людей, вчера считавшихся сочленами единой дружеской академической семьи и оказавшихся стоящими во вражьем стане.

Эта трогательная надежда Штернберга на силу нравственного убеждения особенно наглядно выявилась на одном собрании, созванном в актовом зале Университета, и при том со специальной целью — сговориться с профессурой в направлении согласования ее работы с новыми принципами и установками Советской власти.

Помнится, как на посту Народного Комиссара Просвещения (позднее занятом А.В. Луначарским..) **Штернберг** призывал собравшихся профессоров к совместной с Наркомпросом, дружной, согласованной работе:

— «Обращаемся мы к Вам от чистого сердца и с открытою душой!»

запомнились доселе мне его призывные слова, нашедшие созвучный отклик лишь в ответной реплике языковеда **Марра**.

И едва ли нужно говорить, что при такой реакции на «Новый курс» значительного большинства тогдашней профессуры Павел Карлович не мог не оценить открытого, доверчивого отношения к нему заведующего персонала Дарвиновского Музея.

С благодарностью припоминается, как в свою очередь сам Павел Карлович старался быть полезным названному Музею, в частности, как, бывши Комиссаром по управлению Московской Губернией, он поспешил меня снабдить «Охранной Грамотой» или Правительственным Удостоверением на случай проводившихся тогда проверок и осмотров помещений и Хранилищ.

Но, конечно, самым ценным в этих дружеских взаимных отношениях маститого партийного большевика-профессора и молодого «беспартийного большевика» — явился самый факт такого их общения, факт,

предрешивший отношения к Дарвиновскому Музею тех Советских органов, в руках которых находилось управление музеями и субсидирование их работы.

Под влиянием Штернберга сложились неформальные простые отношения к Дарвиновскому Музею и со стороны всех прочих деятелей Наркомпроса, начиная от чудесного по дарованиям, обаятельного по доступности и обращению Анатолия Васильевича **Луночарского** и до обычно хмурого его помощника, профессора **М.Н. Покровского**, — имевшего, однако, для меня всегда приветливое слово.

Но особенно проникновенно-благодарно вспоминаю я доселе здравствующего бывшего Заместителя Заведующего Научным Отделом Наркомпроса, **В.Т. Тер-Оганесова**, так чутко относившегося к Дарвиновскому Музею.

Обращался ли я по вопросу о предоставлении брони в случае призыва некоторых моих сотрудников (как препаратора Федулова, или художника Ватагина); или случалось мне просить об экстренном ассигновании нескольких миллионов для покупки редких экспонатов и подопытных животных; — приходилось ли ходатайствовать о передаче Дарвиновскому Музею ряда ценных книг, или зоологических коллекций, обладатели которых эмигрировали за границу или ликвидировали свои собрания — ни в чем, ни разу не было мне отказа.

Можно с полной уверенностью утверждать, что лишь со времени Советской власти, с первых месяцев ее установления Музей имени **Дарвина** впервые смог расправить свои сложенные дотоле крылья и готовиться к осуществлению своего исконного призвания — несения знания и радости широким массам нашего народа, и тем самым показать народам всего мира преимущества Советского, и подлинно социалистического строя.

Говоря короче: если первые два года молодой Советской власти навсегда определили отношения к работе Дарвиновского Музея всех без исключения органов Советской власти, то посредником и восприимчиком этого подлинного «Детища Великого Октября» — останется навеки в памяти Музея и в его анналах его первый большевистский друг и покровитель — **Павел Карлович Штернберг**.

Федор Карлович Лоренц

Скромный дворик близ Арбатской площади на бывшей Поварской (ныне — Улице Воровского), со всех сторон охваченный грядами каменных домов.

Старые, сбитые ступени лестницы подъезда в глубине двора, клеенчатая дверь второго этажа и робкая фигура гимназистика у входа в помещение, казавшееся ему «святыней», вопреки невзрачной надписи над дверью:

«**Препаратор Ф.К. Лоренц.**»

Робкий, неуверенный звонок. Дверь отворяет черноглазый юноша в рабочем фартуке.

Впустив вошедшего и удалившись для доклада, молодой рабочий дал возможность посетителю прийти в себя от созерцания бесчисленных сокровищ, наполнявших анфилады комнат.

Самые причудливые, редкие собрания зверей и птиц в неподражаемо искусно-мастерски воссозданных движениях и позах, словно замерев, теснились отовсюду, свешивались с потолка и стен, толпились на полу, сгрудились по столам и подоконникам.

Формы, знакомые вошедшему дотоле только по рисункам и плохим кустарным чучелам, воссозданные глазом и рукой большого мастера, как будто снова ожили в своих естественных контурах-обликах, во всем природном их очаровании.

Как зачарованный смотрел вошедший, в изумлении от царства возрожденных жизней, на цветистые гирлянды форм, со всей страны снесенных на пространство нескольких десятков метров силою большой любви, большого знания, большого творчества.

Но вот и сам владелец и волшебник сказочного царства!

Рослая и стройная фигура, вопреки уже не молодым годам. Тонкие, правильные линии лица и острый, зоркий взгляд природного натуралиста и художника.

Приветливо, радушно встретив молодого гостя, выразив полнейшую готовность показать свои научные богатства, **Лоренц** обратил внимание на ряд особо ценных экспонатов: выродков тетеревов и белых кречтов гренландских.

На конфузливую просьбу об уступе одного из белоснежных соколов **Лоренц** не только выразил согласие, но и готовность на рассрочку платежа, скредитовав впервые обратившемуся неизвестному подростку-мальчику часть стоимости экспоната.

Появившийся на зов хозяина уже знакомый мальчик-подмастерье «Филька», тут же завернул покупку.. Первый «Лоренцевский» препарат! Он положил начало делу жизни молодого энтузиаста.

Это было осенью 1896 года: Дата основания будущего **Дарвиновского Музея!**

Но не думалось тогда, что шустрый, черноглазый мальчик-подмастерье станет в будущем крупнейшим препаратором Европы, свяжет свою жизнь с **Дарвиновским Музеем** в роли его главного фактического создателя.

И еще меньше грезились, что почти все ценнейшие сокровища, накопленные **Лоренцем** за сорок лет, впоследствии, в разное время, разными путями и отчасти самым необычным способом перекочуют в стены **Дарвиновского Музея**, как одна из величайших его ценностей, — неповторимые в истории биологических музеев «Страдивариусы» — «Лоренцевские препараты».

Долгие тринадцать лет снабжался ими автор этих строк на льготнейших условиях при жизни **Лоренца**, а после его смерти (1909) все наследие его в полном объеме было приобретено в порядке гонорара за четырехлетнее научное заведование Лоренцевской фирмой.

А в итоге — качество зоологической экспонатуры **Дарвиновского Музея** — абсолютно уникальное, не превзойденное по совершенству ни одним музеем мира.

Оставляя за собой вернуться к этому вступительному слову, предоставим продолжение его двум известнейшим бывшим ученым, современникам и почитателям-друзьям Федора Карловича **Лоренца**.

Начнем с некролога, написанного в свое время выдающимся зоологом, профессором **Московского Университета**, профессором М.А. **Мензбиром**:

....Я знал покойного в течение более 30-ти лет и за этот долгий срок мог убедиться в его совершенно исключительной любви к природе и таком высоком уважении к науке, какое доступно только истинно-культурному человеку. Ф.К. всегда резко разделял свои труды ради заработка и свои занятия, вызываемые научным интересом. Усталый от продолжительной механической работы, он рад был каждому зоологу, который приходил к нему поделиться чем-нибудь новым, или узнать от него самого что-нибудь новое относительно нашей фауны. Прямо из мастерской он садился писать письма, чтобы получить те, или другие интересующие его сведения, и своей любовью к делу заражал своих корреспондентов.

Трудно сказать, сколько ценных в научном отношении сведений и интересных экземпляров зверей и птиц получил Ф.К. из самых отдаленных углов нашего отечества. И все, что он получал, он строго сортировал: все представлявшее научный интерес им прежде всего предлагалось московскому университету, московским зоологам, отчасти зоологическому музею академии наук, или оставлялось для себя, но в продажу не шло; ..равным образом Ф.К. с удивительной готовностью работал на провинциальные естественно-исторические музеи и собирал систематизированные коллекции для любителей, радуясь каждому редкому экземпляру, которым он мог обогатить то ли иное собрание.

В начале прошлых 80-ых годов Ф.К. два раза ездил на Северный Кавказ с целью изучения его птиц и в течение нескольких месяцев собрал там прекрасную коллекцию, которая послужила основанием к его большому печатному труду. Кроме того Ф.К. напечатал весьма обстоятельную статью о птицах Московской губ. И бесчисленное множество заметок в разных охотничьих журналах.

По некоторым отделам птиц Ф.К. обладал колоссальными сведениями, и я с грустью думаю, что за его смертью для науки потеряна задуманная им монография тетеревей русской фауны, для чего уже давным-давно приготовлены десятки раскрашенных таблиц ин фоллио. Равным образом Ф.К. с исключительным увлечением интересовался нашими хищными птицами и я лично обязан ему драгоценными в научном отношении экземплярами для одной из своих работ, которые он собирал для меня в течение 25-ти лет с такой настойчивостью, как будто дело шло об его собственной работе.

Вообще все московские зоологи, работающие по позвоночным, так или иначе связаны с Ф.К. **Лоренцем**, и его потеря, без сомнения, тяжела для всех нас. Казалось бы, что такое препарат в Москве, где их найдется добрый десяток? Но Ф.К. был **научный препаратор**, выше всего ставивший науку, и к тому же высоко-культурный человек, с которым не только поддерживали сношение, но к которому питали большое уважение ученые специалисты.

Трудно сосчитать, сколько препараторов для экспедиций и студентов обучил Ф.К. и все бесплатно, лишь бы побольше было коллекторов. В его руки как-то сам собой стекался интересный фаунистический материал, и лучшие коллекции зоологического музея московского университета связаны с именем покойного Ф.К. **Лоренца**. Да будет же имя его светлым воспоминанием для тех, кто привык уважать его при жизни, и да послужит он примером тем, кто работает на скромном поприще препараторской деятельности, наглядно показывая, что они могут сделать для науки при уважении к ней.

— **М. Мензбир.**

7 Октября 1909.

«Русские Ведомости»

№ 229.

А вот другое «слово», сказанное двадцатью годами позже, привести которое тем более уместно, что написано оно бывшим крупнейшим орнитологом России, именем, которому посвящена сама наша работа, — академиком Петром Петровичем **Сушкиным**.

— «Федор Карлович **Лоренц** был своеобразным „торговцем“. Пропуская через свои руки массу материала, он неизменно извлекал из него вещи, представлявшие интерес в научном отношении.»

«Эти объекты он неизменно берег для тех ученых, или учреждений, где они имели специальное значение. Птицы Московской губернии шли специально для Академии Наук или Московского Университета, сокола — для профессора **Мензбира** и т.д. — Коммерческий расчет не играл никакой роли: в „настоящие руки“ научный материал поступал и задешево, и в долгосрочный кредит, а то и даром, а какому-либо несведующему лицу ценные в научном смысле объекты не уступались и за дорогую цену. Избегалось и распыление материала.»

«Пользуясь частью своими деловыми связями, **Лоренц** неустанно вербовал новых поставщиков научных материалов из интересных мест, умел расшевелить торговцев пером, охотников, местных любителей и т.д. Многие редкости, многие факты распространения, стали достоянием науки только благодаря **Лоренцу**.»

«Зоологический Музей **Академии Наук** имеет от **Лоренца** ряд серий и отдельных поступлений, особо стоит отметить сбор птиц с Северного Кавказа и коллекцию птиц Московской губернии. Подобным образом многим обязан **Лоренцу** и Московский Музей в смысле сбора материала.»

«В искусстве монтировки зверей и птиц в естественных позах **Лоренц** был пионером и вместе с тем лучшим художником в нашей стране. Этим он оказал неисчислимые услуги просветительной, выставочной части наших музеев, в том числе Академического.....»

«В смысле монтировки птиц русским мастерам, воспринявшим способы **Лоренц**, до сих пор нечему учиться за границей.»

«Наконец, **Лоренц** был большим учителем препараторской и коллекторской техники. Можно сказать, что все собиратели и препараторы, ученые и профессионалы, связанные своим образованием с Москвой, являются или непосредственными учениками **Лоренц**, или учениками его учеников.»

«Все вместе заставляет признать за фирмой **Лоренца** крупнейшую общественную роль. Влияние ее в указанных выше смыслах, оставило глубокий след и продолжается и до сих пор.»

Академик А. Сушкин. — Заведующий Орнитологическим Отделением
Зоологического Музея Академии Наук СССР.

Зоологический Музей Академии Наук.

11 Марта 1928 г.

Таковы высказывания двух авторитетнейших ученых, лично знавших **Лоренца** десятки лет.

Дополним сказанное кратким очерком несложной биографии этого столь многосторонне одаренного и обаятельного человека.

Родившийся (15 Марта 1842-го года) в польском городке **Вилюме** бывш. Калишской губернии, в семье текстильного мастера, **Ф. Лоренц** получил самое скромное образование, окончивши трехклассное училище. Вскоре затем Лоренц-отец переселяется в Москву и здесь, среди большого города, прошли и детские и юношеские годы молодого **Лоренца**. 16-ти лет берет он место в одной известной музыкальной фирме и, таким образом, условия, среди которых приходилось развиваться будущему натуралисту, совсем не отвечали его будущему призванию. Лишь с переводением на фабрику в бывшем Богородском уезде и вдали от города могла проснуться и окрепнуть страстная любовь к природе. Все свободное от службы время посвящается охотничьим экскурсиям. Однако, уже эти первые шаги к ознакомлению с местной фауной рисуют молодого **Лоренца** гораздо больше наблюдателем- натуралистом, чем охотником. За это говорит необычайное обилие тончайших наблюдений, сохранившихся у **Лоренца** на всю последующую жизнь. К этому времени, концу шестидесятых годов, относятся все более ранние биологические заметки, разбросанные в позднейших сочинениях покойного, а также первые попытки сохранить добытые на охоте экземпляры путем художественной их препаровки.

Страстная любовь к природе, редкие технические дарования, талант и наблюдательность все больше составляли молодого **Лоренца** сменять перо конторщика на дробовик, ружье — на полевой бинокль, а последний на пинцет и скальпель препаратора, на кисть художника, на карандаш полевика-натуралиста, на перо сотрудника зоологических журналов, будущего автора естественно-научных монографий.

Каким образом за время относительно немногих лет сложилось это многогранное призвание **Лоренца**, как самобытного зоолога и несравненного художника-таксидермиста, — мы не знаем.

Очень может быть, что первыми приемами «набивки чучел» он обязан был кустарным указаниям какого-нибудь местного любителя.

Но, принимая во внимание, что по ряду экспонатов, препараты **Лоренца** остались до сих непревзойденными за рубежом, — приходится признать, что мастерством своим покойный был обязан самому себе, — редкому синтезу врожденной наблюдательности и художественного дарования.

Новатор «таксидермии», поднявший это до него кустарное и механическое ремесло «набивки чучел» до особого искусства **Лоренц**, как художник-препаратор не имел и не имеет себе равного, по крайней мере в отношении некоторых групп животных.

Уже первым выступлением своим, участием в Политехнической Выставке в Москве, в 1872-ом году, тридцатилетний **Лоренц** закрепил свою пожизненную славу, как художника, представив добрую полсотню замечательных витрин монтированных им экспонатов, удостоенных тогда же высшего признания — Золо-

той Медали. Долгие полвека эти экспонаты оставались лучшим украшением Музея Прикладных Наук, возникшего на базе Выставки, чтобы сравнительно недавно, в части сохранившейся, войти в экспонатуру **Дарвиновского Музея**.

И, однако, ни одним только призванием препаратора-художника определялось отношение покойного к природе и естествознанию. За препаратором-натуралистом, неразрывно с ним, стоял натуралист-ученый, так удачно сочетавший зоркий глаз и острый ум с огромным опытом на базе непрерывного общения с родною фауной.

Планомерные экскурсии, и наблюдения за поступлениями птиц на рынки, массовые материалы, присылавшиеся для монтажа в мастерскую сделали покойного одним из лучших знатоков пернатой фауны подмосковных мест. Итогом этих наблюдений появилась книга «Птицы Московской губернии» в издании Моск. Общества Испытателей Природы.

В труде этом, как вообще во всех статьях и сочинениях покойного, характерной чертой является оригинальность содержания, свидетельствующая о громадном личном опыте: как в изложении фактов, так и в обсуждении теоретических вопросов (например о различии Беркута и Холзана, о природе «полубелой лазоревки» и тетерева-межняка ..) разбросаны оригинальные воззрения автора, или, по крайней мере, новые аргументации в пользу уже известных.

Но не ограничиваясь изучением местной фауны **Лоренц** был неутомим в завязывании связей в отдаленнейших районах нашего отечества и здесь стремление его расширить наши сведения сумели захватить не мало лиц, впервые научившихся видеть в охоте не одну только забаву, но и одно из средств обогащения науки.

Эти обширные корреспонденции с любителями и охотниками Центральной Азии, Сибири и Кавказа наиболее расширили наши познания в отношении двух групп — тетеревиных и фазаньих не случайно красотой оперения и своеобразностью повадок обративших на себя внимание **Лоренца**.

Прекрасно изучивши изменчивость, распространение и образ жизни местных форм, покойный так захвачен был открытым в 1875 году кавказским тетеревом, что бросает дом и уезжает на Кавказ с единственной целью изучить на месте эту замечательную птицу.

В результате — превосходное монографическое описание одной из характерных и дотоле малоизвестных птиц Кавказа, описание, вошедшее в обширный лоренцевский труд о северно-кавказских птицах.

Главной основой этого труда явилась следующая вторая более продолжительная поездка на Кавказ. Что же касается до самой книги, хорошо известной каждому специалисту, то в ней замечательны и мастерски набросанные общие характеристики изученного края, и множество тончайших наблюдений, и описанные вновь, дотоле неизвестные в науке формы и оригинальные таблицы в красках, превосходно выполненные совсем особым способом.

Последний наиболее совершенного применения достиг при составлении красочных таблиц к другому капитальному труду, давно задуманному **Лоренцем**, речь о котором будет ниже.

Приблизительно на ту же пору падает знакомство Федора Карловича с рядом наших выдающихся ученых-путешественников, Н.А. **Северцовым**, Н.М. **Пржевальским**, доверявшим **Лоренцу** монтаж особо ценных экспонатов, частью приобретенных позднее **Дарвиновским Музеем**. — Мы не говорим уже о связи **Лоренца** с московской профессурой, ярко освещенной в приведенных выше строках, посвященных его памяти профессором **Мензбиром**, Академиком П. **Сушкиным**.

Еще значительнее роль, влияние **Лоренца** сказались в деле воспитания кадров молодых зоологов и музеев.

И в самом деле. Надо было видеть юношеский пыл, с которым **Лоренц** относился к своему призванию, ту теплоту, которая вносилась им в общение с молодыми неопитами, чтобы понять причины, привлекавшие к нему десятки молодых зоологов, которые учились у него любить науку, понимать природу.

Можно привести примеры, как ближайшее знакомство с **Лоренцем** было решающим для всей последующей жизни некоторых лиц и надо было видеть то участие, с которым относился он к этим своим ученикам...

Три поколения ученых приобщилось к орнитологической работе на глазах и под ближайшим руководством Федора Карловича. Кто из бывших многочисленных учеников его не сохранил пожизненно воспоминаний о приветливом, отзывчивом характере, о благородном облике покойного, о долгих, неизменно привлекательных беседах в его скромной мастерской, уставленной коллекциями любимых им животных! Чуждые академизма эти задушевные научные беседы были в равной мере дороги и опытным, уже сложившимся ученым, и охотникам-любителям, и начинающим зоологам, студентам и учащимся со школьной, гимназической скамьи...

В лице **Ф. Лоренца** невидимая нить соединяла лиц, весьма различных по общественному положению, возрасту и школе, но всегда сходящихся в отношении своих к покойному, как редкому идеалисту-труженику, как бескорыстному помощнику в науке и как идеальному наставнику и человеку.

Смерть застигла Федора Карловича за его любимым делом. Еще полный сил, горячего желания работать, не смотря на 67-ми летний возраст, он умер от припадка грудной жабы и прервалась неожиданно единственная редким сочетанием талантов жизнь художника-натуралиста.

Но естественно спросить: воссоздавая в памяти давно угасший облик и путь жизни скромного натуралиста и художника, — чем оправдать такое позднее о нем воспоминание?

Мало ли талантливых отечественных самородков с того времени сошло со сцены жизни и особенно в течение последнего десятилетия, столь щедрого талантами, как и — увы! — утратами.

Чем оправдать этот наш запоздалый отклик?

Отвечая на вопрос, полезно осознать **троякое** культурное наследие **Лоренца**.

Его печатные труды по изучению отечественной фауны, птиц «Московской Губернии» и «Севера Кавказа», еще в большей степени (поскольку и помимо **Лоренца** две эти фауны были бы обследованы рано или поздно..) — ряд талантливейших полемических статей в научной зарубежной прессе: выступая против одного тогдашнего именитого «светила» в области Орнитологии **Лоренц** блестяще уличил его в грубейших промахах в той сфере, где покойных Федор Карлович был и доселе остается первым и непререкаемым авторитетом: группе **Тетеревиный птиц**.

Именно в этой области, Изменчивости **Тетраонидэ** Федор Карлович годами занят был подготовлением обширной монографии, имевшей закрепить его полустолетний опыт, как зоолога и как художника.

Мы разумею совершенно самобытный метод, примененный **Лоренцем** к изготовлению иллюстраций для своих трудов. Основанный на длительных, подготовительных, примерных опытах, уже использованный в книге о «Кавказских Птицах», этот способ заключался в нижеследующем:

Сорок лет, из года в год, упорно-методично собирал покойный все, что попадалось редкого среди тетеревиных птиц: гибриды, цветовые варьеты, аномальные окраски и структуры оперения...

Добытое таким образом монтировалось особо тщательно и в свежем виде, до того, как наступает неизбежная из-за усушки деформация, препровождалось в ателье фотографа.

Там, из естественных свежесезенных сучьев, веток, листьев инсценировалось некое подобие «микрорландшафта» и заснятые на его фоне чучела, вернее говоря, изображения, размноженные фототипией, **раскрашивались от руки**.

В итоге — абсолютное воссоздание оригиналов, с несравненной точностью передающее тончайшие оттенки оперения и детали линьки, с совершенством, недоступным никаким художникам-анималистам, ни карандашу, ни кисти.

Свыше двадцати таких сюжетов и таблиц с расчетом на тираж в **двести** примерно экземпляров было изготовлено покойным: свыше четырех тысяч картин ин-фолио ручной раскраски, труд сверхчеловеческий... Немудрено, что совершив его, покойный медлил с окончанием всей серии, выискивая, выжидая новые, недостающие объекты, поступление которых невозможно угадать заранее.

Но уповая на свою неиссякающую бодрость и на мнимо нестареющие силы **Лоренц** не спешил с писанием текста, отлагая оформление его до более свободных дней..

Им не дано было настать и тысячи цветных таблиц неподражаемого мастерства остались в положении «осиротелых».

Именно об этих красочных таблицах с грустью вспоминал в своем некрологе покойному профессор **Мензбир**.

Именно о них писал когда-то наш былой известнейший фаунист и систематик-орнитолог С.А. **Бутурлин** («Наша Охота», Ноябрь 1909), полагавший, что изданием этих таблиц, хотя бы с «самым кратким текстом» было бы «достойным памятником знания и таланта покойного».

Идя навстречу этим пожеланиям и зову чувства долга, пишушим эти строки, сорок лет тому назад было приступлено к изданию заграницей, в **Вене**, названных таблиц в форме роскошной монографии «ин фолио» с использованием выдержек прежних печатных сочинений **Лоренца**, дополненных отрывками оставленных им записей и полусотней иллюстраций в тексте.

Начавшаяся первая империалистическая война прервала это начинание: издание остановилось на одном лишь первом выпуске, успевшим разойтись только в немногих экземплярах, оцененном хорошо тогдашней критикой, как русской (См. «Орнитологический Вестник» № 2 1911), так и зарубежной (Золотая Медаль на Международной Охотничьей Выставке в **Вене**).

Сорок лет хранилось это ценное наследие **Лоренца**, завещанное пишущему эти строки, без фактической возможности издания таблиц в первоначально запланированном виде — на роскошной меловой бумаге в виде капитальной монографии «ин фолио».

И только приближаясь к завершению своего посильного служения и жизни, автор счел своим моральным долгом перед памятью Учителя и друга, — обнародовать эти чудесные таблицы, правда, в несколько ином сопровождающем контексте.

В самом деле. Приводить былые сведения о географии и систематике тетеревов сейчас, по миновании полвека, при наличии новейших превосходных сводок русских орнитологов (**Дементьева**, **Бутурлина** и **Штегмана**) — казалось нам не более оправданным, чем ограничиваться голым описанием отдельных варьетов, помесей, или аберративных оперений и структур.

Уместный полстолетия тому назад, в ту пору, когда внешнее многообразие или богатство форм и красок тех или иных животных групп способно было захватить внимание любителей, или ученых, независимо от выводов и обобщений — этот тип и стиль научных монографий трудно оправдать сейчас, когда за каждым новым фактом, или наблюдением, мы ищем новые аспекты знания, созвучные более общим требованиям дня.

Вот почему, давать сейчас простые описания и голые таблицы измерений, зная наперед их беспредметность для ученого (поскольку непереуверенный самим автором на обобщающий язык кривых и диаграмм мир голых цифр мало говорит..), печатать рукопись в том виде, как она готовилась когда-то сорок лет тому назад пишушим эти строки, — значило бы не учесть гигантских сдвигов, происшедших с той поры в науке вообще, и в частности в трактовке биологии **советскими** учеными, в подходе их к дискуссионным и волнующим проблемам Дарвинизма.

Таковы моменты, побудившие использовать научное наследие **Лоренца** в аспекте, более широком, чем предполагалось им самим, при том не только в отношении охвата темы и ее трактовки.

Расширение коснулось самого фактического материала.

Дело в том, что закрепить в цветных таблицах удалось сравнительно немногие объекты из бесчисленных, прошедших через руки **Лоренца**: не малое число других, столь же редчайших экспонатов, разошлось по частным и общественным музеям, как отечественным, так и зарубежным.

За протекшее со смерти **Лоренца** сорокалетие удалось пополнить им завещанные материалы сотнями других объектов, вырученных из собраний частных лиц, или путем обмена с разными музеями.

В итоге — совершенно уникальная коллекция, во много раз превосходящая исходную у **Лоренца** и наводящая на обобщения, оправданные лишь на базе этих беспримерных сборов: общее количество «нормальных» птиц, за счет которых проводились сборы «аномальных» форм за время целого столетия (примерно

со середины XIX-го Века и до наших дней..) определяется в количестве не менее **двух сот миллионов!** — цифра, достаточная для ответственных научных выводов.

Этот ценнейший материал обязывал дополнить прежний, закрепленный **Лоренцем** в цветных таблицах, правда, в форме более обычных «черных» фотоиллюстраций в тексте.

И поскольку подавляющее большинство их представляет «Лоренцевские» препараты, — эти фотографии созвучны содержанию цветных таблиц.

Тем более оправданным казалось отказаться от использования записей, оставшихся после покойного в виде чернового материала для его работы.

Беглые, иррегулярные, набросанные идеальным почерком но в высшей степени отрывочно, эти заметки стиля кратких протоколов ничего существенного не прибавили бы к тем высказываниям или очеркам, которые им сделаны в печати.

Возвращаться к этим общим мыслям **Лоренца** казалось нам нерациональным: Орнитологам эти его работы хорошо известны, а для неспециалистов — мало интересны.

Также неоправданным казалось приводить оставшиеся в рукописях описания отдельных «выродков», в особенности там, где подлинных оригиналов, самых экземпляров этих птиц не сохранилось, да и самые особенности их рисуются лишь как модификации и модуляции других, аналогичных особей, представленных в натуре, в вещных экспонатах, закрепленных в фотоснимках.

Таковы мотивы, вынуждающие автора остановиться на дисгармоничном с виду сочетании трактата, посвященного дискуссионным темам Дарвинизма с атласом прекрасных красочных таблиц, способных захватить внимание не одних только ученых, но и широчайшие круги любителей природы, краеведов и работников музеев.

Таково **второе**, более реально-вещное наследие покойного: чудесные таблицы красочных изображений, в создание которых **Лоренц** — как когда-то справедливо было сказано¹ вложил «все силы, и духовные, и материальные, все сбережения, всю свою душу..»

И, однако, как ни уникально мастерство этих цветных таблиц, — им не дойти до масс, за скромностью тиража и дороговизной самого издания, и это в наши дни, когда достоинство любого достижения культуры мы расцениваем всего прежде степенью его доступности и эффективности, его реальной пользы для широких масс.

Затерянные среди других фолиантов Атлас **Лоренца** разделит рано или поздно преходящие их судьбы.

Но имеется еще одна и несравненно более неоспоримая заслуга **Лоренца**, имеющая уберечь его от полного забвения.

Мы разумеем третье, наиболее конкретное и подлинное непреходящее наследие покойного, ибо касается оно широких масс, являясь подлинно народным достоянием.

И чтобы оценить эту крупнейшую заслугу **Лоренца**, нам предстояло бы вернуться мысленно к тому далекому Октябрьскому дню, с которого мы начали рассказ, со скромной первой встречи **Лоренца** с безвестным гимназистом, — встречи, положившей некогда начало основанию **Дарвиновского Музея**.

Можно с полной уверенностью утверждать, что без той встречи не было бы этого Музея, как крупнейшего в охране биомузея массового типа.

И не только потому, что низкопробная продукция всех прочих препараторов (вернее: «чучелятников» —) не в силах были вдохновить к собранию мерзейших «чучел». Но и потому, что, будучи лишь торгошам-коммерсантами, никто из них не согласился бы работать для частного музея на столь льготных «некоммерческих» началах.

Более того. Без **Лоренца**, его сорокалетних сборов замечательных, редчайших экспонатов, подлинных неповторимых «Страдивариусов», поступивших после его смерти в Дарвиновский Музей, не оказалось бы

¹ См. «Орнитологический Вестник» 1911, № 2 ст. 206.

того ценнейшего ядра, вокруг которого, слагались множилось, росли и крепили все последующие обогащения Музея при Советской власти.

Более того. Без **Лоренца**, как основателя «московской Школы препараторов-таксидермистов» не было бы и талантливых учеников-преемников его неподражаемого мастерства...

И всего прежде не было бы самого талантливого, вышедшего из народа, преданнейшего сотрудника-сооснователя **Дарвиновского Музея**, препаратора-орденоносца Ф.Е. **Федулова**, с которым мы уже знакомы в лице подростка-подмастерья, встретившего некогда, 55 лет тому назад, своего будущего Директора в лице застенчивого гимназистика..

Ему, тов. Ф.Е. **Федулову**, как и его племяннику Д.Я. **Федулову**, — этим двум «Бахам» в области таксидермического мастерства, Музей имени **Дарвина** обязан тем, что в течение последующего сорокалетия по смерти **Лоренца** Музей наш по достоинству монтажей смог опередить крупнейшие музеи Западной Европы.

Можно с полной уверенностью утверждать, что если три крупнейших, существующих в нашей стране зоологических музея (Академии Наук, Московский Университетский и наш Дарвиновский) могут не бояться их сопоставления с зарубежными, а частью даже сознать себя непревзойденными по мастерству монтажа многих экспонатов, то лишь потому, что опираются эти музеи о новаторские методы таксидермии, разработанные **Лоренцем**, что обеспечен их «столичный» вид талантом и усердием художника-натуралиста — Ф.К. **Лоренца**, и его Школы.

И поэтому глубоко прав был в свое время (уже при Советской власти..) Академик **Сушкин**, заключивший свой прекрасный вышеприведенный отзыв о заслугах **Лоренца** уверенностью, что его «общественная роль, влияние ее оставило глубокий след и продолжается донныне».

В этой роли **Лоренца**, как обеспечившего высоту, достоинство научно-художественного «стиля» экспозиции крупнейших трех зоологических музеев нашей Родины, как подлинных рассадников естественно-научных знаний среди масс — и заключается важнейшая **патриотическая** роль, непреходящая заслуга **Лоренца**, как самобытного художника-натуралиста.

Памяти Профессора М.А. Мензбира

К Десятилетию со Дня Смерти, 10 Октября 1945

— «В Жизни учреждений, как и в жизни отдельных лиц, бывают периоды тяжелых утрат, оставляющих по себе неизгладимый след на все последующее время. Подобные утраты являются.. испытанием нравственных сил, с которыми приходится встречать несчастье и провожать его. Если богат этот запас — не сломит несчастье того, кого оно постигло; скуден он — и горе тому, кому приходится на него опереться.»

Приведенные слова, написанные в свое время Мензбиром по поводу кончины его друга и учителя, проф. С.А. **Усова**, — невольно зазвучали в моей памяти при выборе руководящей мысли, «лейтмотива», моего доклада, посвященного десятилетию со дня кончины моего учителя.

Как одному из самых давних, если не старейшему ученику М.А., да будет мне позволено здесь поделиться краткими о нем воспоминаниями, связав их с рядом мыслей или выводов, могущих оправдать отрывочность и малозначность фактов, с виду столь далеких от запросов и тревог переживаемого времени.

И в самом деле. Так естественно спросить: На фоне грандиозных мировых событий, отзвуки которых заполняют мир, — что значит отделенная от нас десятилетием кончина старого профессора, хотя бы Академика и Президента нашего старейшего в России Общества Натуралистов!?

Лучшим и нагляднейшим ответом на вопрос является наше сегодняшнее мемориальное собрание.

Красноречивее всех слов оно показывает нам, что даже величайшие события минувшего десятилетия не в силах отодвинуть и заставить позабыть труды и облик старого московского ученого.

В чем же причины обаяния **Мензбира**? — так спрашивал я десять лет тому назад здесь, в Университете, над открытым гробом моего учителя, так спрашивал я позже на страницах посвященного ему Некролога...

Ведь были же — так говорил я — были же в московском Университете и при жизни Мензбира ученые не меньшего академического ранга, обладатели ученых тог, беретов и дипломов зарубежных университетов.

Были Президенты общества, не уступавшие М.А. если не преданностью Обществу, то по достоинству и такту представительства!

В чем же — так спрашиваем мы — особенности умственного склада **Мензбира**, его духовно-внутреннего облика, что заставляют нас сегодня, вопреки протекшему десятилетию, так живо и болезненно переживать его кончину, так тепло и благодарно вспоминать о нем?

Попытке разрешения этого вопроса я и посвящаю содержание моей речи.

Но сначала — небольшая оговорка.

Не располагая столь обширными биографическими данными, как автор предыдущего доклада, уступая этому последнему по новизне фактического материала, и не будучи знаком с М.А. иначе, как по линии служебной, или ученической — и деловой, — я вынужден в своем докладе ограничиться более внешним абрисом этой глубоко-уникальной личности, как она ярко и неизгладимой поступью прошла по жизненному моему пути на протяжении почти полвека.

И, однако же, тот факт, что оба наши выступления, исходя из разных точек отправления, там — более внутренне-интимным, здесь — более внешним и академическим, — приходят к одинаковым оценкам, — эта наша солидарность выводов, к которым мы пришли так совершенно независимо, идя различными путями, — да послужит объективным подтверждением громадности утраты, нами понесенной смертью нашего общего учителя, крупнейшего ученого, большого человека.

Такова та небольшая оговорка, предпослать которую я счел необходимым в оправдание кажущейся повторымости предыдущего доклада и того, который я позволю себе предложить вниманию настоящего собрания.

Начну с того, что попрошу Вас мысленно перенестись за полстолетие, без малого, назад.

Раннее утро осени 1900-го года.

«Новое здание» Университета.

В низком, неприветливом и полутемном вестибюле все полно движения: студенты группами и одиночками, собравшиеся до начала лекций и готовые рассеяться по аудиториям.

Слово «студенты» должно понимать буквально со включением момента «сексуального»: одни мужчины, ибо женщины в ту пору так же мало допускались в университеты, как мужчины в мусульманские гаремы.

Все без исключения студенты — в форме: серые и, реже, черные тужурки, еще реже форменные сюртуки с небесно-голубыми или синими воротниками, то изрядно уж потрепанные, то — у первокурсников — сверкающие новизной.

То тут, то там, среди студенческих мундиров и тужурок промелькнет фигура тоже «оказаненного» по наружности профессора: значительное большинство профессоров сверкало тоже в синих вицмундирах с бронзовыми пуговицами и орлами.

Вот — нелепая до шаржа, косолапая и грузная фигура цивилиста **Кассо**, — будущего царского министра и громилы русских университетов.

Вот — высокая, сутулая фигура будущего Ректора и первой жертвы нарастающей реакции, профессора Сергея Николаевича **Трубецкого**.

Там — невзрачная фигура бледного преемника великого **Столетова**, — «грозы студентов» — **Соколова**.

И на фоне этой обезличенной толпы тужурок, фраков и мундиров как-то странно было видеть одинокую фигуру **Мензбира**, так совершенно непохожую на облики его коллег.

В невзрачном пиджачке, неторопливой и развалистой походкой пробирался он среди студентов, словно никого не замечая, к лестнице, ведущей к верхним этажам.

Вот он поднялся на второй этаж, остановился для короткой передышки. Новый, столь же медленный подъем и.. снова остановка.

Глядя вниз, через перила лестницы, студенты, стоя на площадке перед входом в аудиторию на третьем этаже, невольные свидетели этой борьбы профессора со своим сердцем. Опасения — напрасные: долгие тридцать с лишним лет это большое сердце будет преданно ему служить, оно переживет его сознание и слово.

И невольно думалось студентам: так ли неизбежно понуждать профессора к этому «лестничному альпинизму»? Неужели невозможно было отвести для его лекций менее «горней» аудитории?!

Невольно нас охватывала мысль: «Мензбир — „не в фаворе“ у начальства и властей!», «Мензбира — притесняют!» И одной лишь этой мысли, этого предположения было достаточно, чтобы симпатии студенчества стихийно обратились к Мензбиру.

Но эта скрытая симпатия к профессору в ту пору сочеталась у студентов с величайшим чувством пиетизма, близкого к боязни, почему при появлении Мензбира у входа в аудитории мы все сидели по местам.

Короткий и небрежно брошенный кивок при входе в залу на приветствие — по гимназической привычке — приветстванием первокурсников-студентов и внимание Мензбира обращено на кафедру, стоящую перед доской и заграждавшую ее от аудитории.

Нахмурившись М.А. обеими руками опирается о ненавистную им кафедру и, навалившись на нее, одним рывком отодвигает ее в сторону.

Характерно, что каждый раз перед началом каждой лекции, упорно, неизменно повторялась та же сцена: предварение ее «борьбой с кафедрой», а между тем, ни разу, никому из нас, не приходило в голову избавить Мензбира от этой регулярной вынужденной «физкультуры»: в такой мере опасались мы по отношению к нему малейшей инициативы.

Обеспечив, таким образом, полную видимость доски для аудитории М.А. приступает к лекции: «Введение в Зоологию и Сравнительную Анатомию.»

Курс — вводный для студентов-первокурсников, за малым исключением, не имевших ни малейшего понятия об Анатомии и Зоологии.

Тем любопытнее вид аудитории: пустые стены и столы, ни препаратов, ни таблиц, одна лишь черная доска и белые мелки. И — все! Наглядный, поучительный урок «фанатикам наглядности», пытающимся вещной демонстрацией покрыть несовершенства дикции и мысли.

Тем уместнее спросить: Чем привлекали эти лекции и что притягивало в них?

Вопрос — тем более уместный, что при перечитывании этих лекций в их печатном, книжном виде, мы напрасно стали бы искать решения вопроса.

К лекциям **Мензбира** всецело применимо то, что было сказано когда то **Чеховым** про лекции былой когда то медицинской знаменитости — профессора **Захарьина** в их устном и печатном виде:

— «Вышли лекции Захарьина. Я купил и прочел. Увы! есть либретто, но нет оперы. Нет музыки, какую я слышал, когда был студентом.»

В чем же эта «музыка» былых, давно уже позабытых мензбирских лекций?

Стоя у доски, одной рукою опираясь о нее, **Мензбир** уверенно чеканил свою речь, сопровождая ее беглыми набросками, столь же скупыми, мастерскими, как и сопровождающие их слова.

Ни слова лишнего, — лишь самое необходимое. Предельный лаконизм мысли и штриха. Ответственность и убежденность мысли, порождавшие невольно сходную ответственность и убежденность в слушателях аудитории.

Я думаю, что я не ошибусь, сказав, что в этой глубочайшей убежденности, «переживаемости» речи **Мензбира**, таилось главное очарование его живого слова.

Стоя у доски, он, отрываясь от набросанного чертежа, имел обыкновение, не прерывая речи, всматриваться пристально и строго в аудиторию, как будто приглашая ее мысленно признать значительность, необходимость и неоспоримость излагаемых им мыслей.

В этом взгляде было что то фасцинирующее, манящее и убеждающее даже там, где дело шло о фактах и явлениях довольно частного порядка, или даже трудно усвояемых.

К лекциям **Мензбира** в широкой мере приложимо то, что говорилось некогда о **Фарадее**, обладавшем редкою способностью внушать сознание понятности своих лекций там, где на деле понимала их едва одна десятая часть всей аудитории.

Но если так, — то в чем же подлинная польза лекций для оставшихся 9/10-ых? Если понимают лекции только немногие, а большинство уходит с лекции в приятном заблуждении ее лишь мнимого, воображаемого усвоения, — то не вытекает ли отсюда бесполезность университетских лекций вообще?

В искании ответа на вопрос, позвольте мне напомнить Вам малоизвестное суждение гениального адепта **Дарвина**, — Томаса Гексли, памяти которого сам Мензбир в свое время (1895) посвятил такие теплые страницы.

«Энтузиазм в поисках истины» — так высказался Гексли в своей речи об Университетах — «энтузиазм в искании истины есть благо большее, чем длительное обучение, есть дар гораздо более благородный, чем простое лишь увеличение знания!»

В этой фразе, высказанной **Гексли**, этим «Лессингом минувшего столетия», не слышится ли парафраза сходного же утверждения подлинного **Лессинга**, его известного суждения о преимуществе «Искания Истины» перед ее готовым обладанием...

Неоспоримое в устах философа, это суждение может показаться спорным в университетской практике.

Что, если на вопрос экзаменатора Ваш испытуемый будет оправдывать свое молчание словами **Гексли** и ответит Вам в том смысле, что «Искание» Истины ценнее ее подлинного обладания.

Не будет ли это цитирование Лессинга потворствованием невежества?

Да будет мне позволено в искании ответа обратиться к опыту другого видного ученого и педагога (Осборна) в его приветствии учителям Педагогического Института в Тронтоне (1923 г):

— «Что я всего более ценю в моих былых учителях — это элемент вдохновения, исходившего от их собственного энтузиазма. Я не помню фактов, которым они меня учили, я не смог бы изложить сейчас ни одного из их предметов, но их вдохновение пребывает до сих пор со мной!»

В приведенных только что цитатах выдающихся профессоров-ученых можно прочитав ответ на основной нас занимающий вопрос:

Чем объяснить то невнимание, с которым Мензбир относился к вещной обстановке своих лекций, к внешнему их оформлению?

Причины этого двоякие, отчасти материально-внешние, но еще более принципиального характера.

Официально занимая пост директора Сравнительно-Анатомического Института, **Мензбир** всего прежде чувствовал себя **зоологом**.

Отсюда — не совсем обычная и алогическая ситуация.

Законная властительница Института, именно **Сравнительная Анатомия**, все время чувствовала за спиной присутствие соперницы, полу- легальной, а на деле подлинной, фактической хозяйки — **Зоологии**, владевшей подлинно умом и сердцем институтского Директора.

Но, как обычно, при ведении хозяйства «на два дома», и тем более, при «двух хозяйках» под единой крышей, — личному их обаянию не отвечало материальное их благоденствие: в отличие от узаконенной «хозяйки» и ее обильного имущества, — Сравнительно- анатомических коллекций, ее скрытая соперница и конкурентка — **Зоология** была бедна, как «Золушка».

В итоге мы годами слушали «Курс Зоологии» у Мензбира почти без всяких демонстраций. В лучшем случае нам демонстрировались атласы и иллюстрации из книг.

То была «Kreide-Zoologie», — «Меловая Зоология» в самом буквальном смысле слова, меловые схемы и наброски при полнейшем игнорировании стенных таблиц и всякой вещной демонстрации.

И тем не менее, ошибкой было бы сводить такое небрежение вещной демонстрацией лишь к неимению учебно-вспомогательного материала: настоящая причина опускания вещных демонстраций коренилась глубже, в методических, принципиальных установках **Мензбира**.

В основе этого сознательного упрощенчества лежало убеждение, что все обычно применяемые атрибуты и аксессуары лекций по Естествознанию, как препараты и таблицы, опыты и аппараты не уберегут от полного забвения фактического материала и конкретной стороны науки, что действительное, подлинное овладение предметом достигается не слушанием лекций и не однократным созерцанием таблиц и препаратов, но **самостоятельным**, повторным, длительным практическим и повседневным изучением и **бытованием** предмета, что задача лекций — только **приохотить** к этому самостоятельному изучению, вдохнуть любовь к предмету, при наличии которой только и возможно усвоение последнего.

Но именно такой задаче лекции М.А. отвечали в наивысшей мере.

И припоминая самого себя студентом-первокурсником, сидящим в аудитории на лекции у Мензбира, я сомневаюсь, чтобы эти лекции давали мне реальные и длительные знания, но «вдохновение», исходившее от лектора, осталось до сих пор со мной.

Это сознание элементарной истины, что знание, не подновляемое повседневным «бытом», не вошедшее в профессию, призвание и практику, — бесследно позабудется, эта простая истина руководила несомненно той гуманностью, которую наша былая профессура (в более разумной своей части) проявляла на экзаменах.

Экзамены! Этот глубоко-устарелый, архаичный институт, наследие Средневековья, угрожающий при практикуемой формальности их проведения уроном для культуры....

В такой мере очевидно, что «отличная отметка» на экзамене не гарантирует ни длительного, подлинного знания, ни преданности, увлечения наукой у экзаменуемых, как и обратно, подлинная страсть к науке познается длительным знакомством педагога и профессора с учащимся, или студентом, а не в результате беглого опроса на экзамене.

Но бесполезные, нередко вредные и в лучшем случае излишние для испытуемых (при должной постановке дела!) испытания полезны, как проверка... **испытующих**, их широты ума, наличия у них педагогического такта.

«**Экзамены, как испытания самих экзаменаторов**», — этот звучащий парадоксом тезис, я позволю себе пояснить на нескольких примерах, хорошо показывающих, как неформально относились в годы моего студенчества крупнейшие профессора к этой формальной, нудной, прозаической их миссии.

Невольно вспоминается, как первокурсником-студентом экзаменовался я по Зоологии, как на раздавшийся среди могильной тишины всей залы лапидарный голос **Мензбира**: «Господин Коте!» — приблизился я с трепетом к столу экзаменаторов. Оба они, **Мензбир** и **Сушкин**, знали меня с отроческих лет и помогли мне еще на гимназической скамье в моей поездке за зоологическими сборами в Сибирь, и потому вполне резонно ограничились парой вопросов вне билета, понимая, что не знанием учебника и лекций определится вся моя будущность, как прирожденного и маниакального зоолога.

Припоминается другой пример, не менее показательный.

Экзамен по Физиологии Растений у Приват-доцента **Крашениникова**.

Небольшой учебничек Палладина, поверхностно усвоенный, не уберег меня от затруднения в ответе на вопрос экзаменатора:

«Как поступить, когда нерастворимое в воде питательное вещество должно придти в соприкосновение с корнями взвешенного в сосуд с водой растения, но вещество это осаживается на дне сосуда?»

Никогда не сталкивавшись в жизни с затруднением такого рода, я молчал, не зная, что сказать. Молчит, лукаво улыбаясь и милейший Федор Николаевич.

Заметив наше обоюдное молчание, **Мензбир**, бывший Председателем Комиссии, счел нужным мне придти на помощь.

Перегнувшись через стол, он, не стесняясь, обратился к **Крашениникову** своим властным лапидарным стилем:

— «Что это Вы там тесните моего зоолога?»

Сконфуженный таким заступничеством Федор Николаевич едва успел мне прошептать: «Палочкой помешать!» и отпустил, поставив полный бал.

В этом контексте не могу не выразить, хотя и с запозданием на 40 лет, моей признательности нашему глубокоуважаемому Президенту Николаю Дмитриевичу **Зелинскому**, не дрогнувшему 40 лет тому назад не провалить меня на государственном экзамене по своему предмету, вопреки скандальной скромности моих познаний

— «Ели-ели!» — грустно прошептали Вы, поставив мне ни мало не заслуженную «Тройку» за бензольное «кольцо», или шестиугольник, составлявший весь мой умственный багаж по Вашему предмету.

Несомненно, что в основе этой снисходительности на экзаменах лежало правильное убеждение, что время энциклопедизма Лейбницев и Парацельсов миновало, и что если молодой ученый проявил себя в излюбленной им области, нет оснований проверять его страницами учебников и еще менее — испортить или затруднить ему научную карьеру формализмом требований на экзамене по дисциплинам, чуждым и ненужным для его призвания.

Я преднамеренно остановился на отдельных случаях, или примерах экзаменационной практики былых времен для подтверждения элементарной истины, что при наличии действительного интереса и влечения к предмету, их проверка помощью экзаменов излишня, и, наоборот, никакое испытание не в силах стимулировать действительное (а не показное!) овладение предметом при отсутствии к нему влечения и интереса.

Превосходной иллюстрацией этого тезиса являлась постановка собственно-исследовательской работы в Институте, возглавляемом Мензбиром, его руководство научными работами студентов.

«**Мензбир**, — как руководитель специальными научными работами студентов старших курсов» — тема, исключительно неблагодарная для внешнего, поверхностного обсуждения, но поучительная при внимательном и вдумчивом подходе.

Потому ли, что тематика этих работ (сравнительно-анатомическая) не захватывала сущность интересов **Мензбира**, или, вернее, в силу свойственных ему принципиальных установок, — но фактическое отношение М.А. к этим работам и работникам было довольно необычно и по виду не легко оправдываемо.

Достаточно отметить, что за все **пять** лет, активно мною проведенных мною в Институте **Мензбира**, я не припомню случая, чтобы последний, говоря со мной коснулся и моей работы. Лишь по получении ее в готовом виде для печати Мензбир ограничился коротким замечанием по поводу ее заглавия. И — только.

Посвященная довольно специальному вопросу о развитии черепа у птиц определенного анатомического типа, — данная мне тема не могла особенно воодушевить меня и в лучшем случае являлась лишь хорошей школой техники микроскопии, пользования литературой и, пожалуй, всего прежде, школой выдержки, настойчивости и терпения.

Неудивительно, что для натур, гораздо менее определившихся в своем призвании, подобная «система» руководства приводила к несколько сомнительным последствиям.

Так, помнится, один из молодых студентов-однокурсников моих, **Некрасов** по фамилии, племянник знаменитого поэта, взявший тему «О развитии плечевого пояса у Птиц», страдал невыразимо над своей работой за незнанием английского и трудностей лабораторной техники, в которой я посильно помогал ему.

Милейший малый но ни мало не зоолог, этот незадачливый питомец Института был настолько робок, что, слышав гулкий звук захлопнувшейся двери, ведшей из квартиры Мензбира и возвещавший о его приходе в Институт, стремительно снимался с места, опасаясь встретиться с Директором.

— «Уж лучше я уйду! Боюсь!» бросал мой незадачливый зоолог на ходу, стараясь скрыться до прихода Мензбира.

Можно оспаривать «руководительство» такого рода, но характерно, что предоставленные в сущности себе самим, мы все же оставались целиком во власти обаяния нашего профессора и чувства уважения к нему, тем большего, чем дальше он держал себя от нас — студентов и его учеников.

И даже убежавший от него Некрасов походил скорее на влюбленного, проникнутого чувством величайшей робости перед предметом обожания.

Нетрудно видеть, что в таком небрежном с виду отношении **Мензбира** к студенческим работам, ведшимся в его Лаборатории, сквозила некая определенная система.

И действительно, располагая повседневной и авторитетной помощью во всем, касавшемся литературы и лабораторной техники, широко пользуясь советами и руководством ассистентов и помощников Мензбира, — мы со стороны **идейной** разработки тем были всецело предоставлены себе.

В основу этой установки полагалась, очевидно, следующая дилемма:

Есть у аспиранта дарование и любовь к науке, — он пробьется вопреки всем трудностям. Нет дарования, нет любви к предмету, а одно лишь домогание «диплома» — и создать любовь и дарование не сможет никакое руководство.

Можно без труда оспаривать пропедевтическую ценность этой установки, но характерно, что к сходным выводам приходят и большие мастера и знатоки истории искусств.

В своей известной автобиографии **Игорь Грабарь**, касаясь сложного вопроса о путях и формах помощи художественным дарованиям, говорит:

— «Если есть опасность, что дарование заглухнет, значит яркого дарования нет; лучше всего ничего не предпринимать и вовсе не помогать, ибо если есть подлинная страсть, ее ничем не заглушишь и она скорее разгорится от помехи, чем от помощи, лучше поэтому мешать, чем помогать.»

/Игорь **Грабарь**. — «Моя Жизнь» 1937. стр. 331/

Я сам не склонен разделять вполне этот страдающий чрезмерным ригоризмом афоризм и не думаю, чтобы задача Университета заключалась в том, чтобы «мешать» природным дарованиям, дабы тем самым выделять эти последние из недифференцированной массы остальных студентов.

И, однако, вспоминая отношения **Мензбира** к работавшим в его Лаборатории, я не припомню случая, чтобы такое сдержанное отношение его к нам сказалось отрицательно на продвижении этих работ там, где велись они на базе подлинного интереса или преданности делу: отфильтровывались лишь случайные «попутчики», а подлинные энтузиасты оставались преданными своему профессору и своему призванию.

Так оно было в отношении автора доклада.

Здесь достаточно отметить, что за все шесть лет студенчества я не припомню случая, когда бы Мензбир похвалил меня, не говоря уже об ассистентских годах, протекавших в обстановке, исключавшем всякую возможность выражения открытой похвалы и одобрения...

Помнится, как при показывании Мензбиру моих рисунков, закреплявших мои частные домашние занятия по вскрытию, анатомированию обезьян мне присылавшихся из Зоосада, к огорчению моих домашних,

— **Мензбир** принимал эти рисунки к сведению, но ничем не выражал признания этого для первокурсника-студента не совсем обычного усердия, а при показывании моих частных же рисунков с черепов или скелетов, **Мензбир**, сам отлично рисовавший, попросту разнес меня, указывая — и вполне резонно — на ненужные детали бликов, затемняющих рисунок.

Равным образом, когда по окончании Университета **Мензбир** объявил мне о давно и чуть не с гимназической скамьи так трепетно и долго ожидавшемся «Оставлении» при кафедре для приготовления к профессорскому званию, — это сообщение было сделано в официально-деловой форме, но и только.

И, однако, ни такое сдержанное отношение **Мензбира** к работавшим в Лаборатории Сравнительно-Анатомического Института, ни последовавший вскорости разрыв мой с ним и мой уход из Университета, вызванный моей преподавательской деятельностью на Московских Высших Женских Курсах, — не смогли развеять чувства пиетизма к моему бывшему университетскому учителю.

И только дважды это сдержанное обращение со мной Михаила Александровича уступило место теплоте, почти отечественному отношению.

Первый раз — при увольнении **Мензбира** из Университета в 1911 году распоряжением тогдашнего министра **Кассо**.

Не выдавшись с Мензбиром около двух лет, за вынужденным моим уходом из Университета, я, узнавши из газет о состоявшемся его разгроме и об увольнении Мензбира, почувствовал, что меня тянет к моему бывшему и жестоко оскорбленному учителю.

И здесь впервые, на мои слова душевной благодарности за все им сделанное для меня еще на гимназической скамье, и позже, в Университете, **Мензбир** в первый раз признался, что во мне он видел одного из самых ценных для себя учеников и в будущем возможного приемника.

Рассказывать о всех последующих моих встречах и родах общения с Мензбиром на Высших Женских Курсах, где мне довелось еще два года поработать с ним, чтобы вторично окончательно служебно разойтись, — рассказывать об этом мне сегодня не приходится.

И лишь одна из этих встреч, последняя по существу при жизни **Мензбира**, навеки врезалась мне в память.

То было при моем последнем посещении его на предпоследней занимавшейся им квартире в доме на Волхонке.

Пораженный первым, еще легким вестником грядущего тяжелого удара **Мензбир** затруднялся в некоторых своих движениях и принял меня, лежа на диване.

На мои попытки утешения, Мензбир возразил мне с горькою улыбкой:

«Нам, биологам, не к лицу обманывать себя в подобных случаях!»

И, помнится, как расставаясь, и при том в последний раз, мы обменялись поцелуем, первым и последним....

Помнится, как в пору полного расцвета силы **Мензбира** в этой самой аудитории, читая лекцию, порою брался неожиданно за сердце, на мгновение приостанавливая речь.

— «Профессор!» — обращался в этих случаях менее робкий из студентов — «Мы, студенты, просим Вас о прекращении лекции, поскольку Вам не по себе!»

— «Благодарю Вас!» отвечал на это **Мензбир**, — «поступить по Вашему желанию значило бы отказаться вообще от кафедры: так часто мое сердце изменяет мне!»

Увы! Именно сердце это оказалось наиболее устойчивым, не в меру преданным и верным, продолжая биться долгие три года, вопреки умолкшей речи и угасшему сознанию...

Смерть явилась избавительницей десять лет тому назад, прервавши жизнь, умолкшую три года перед тем.

Последнее, решающее слово.

Могут возразить и совершенно справедливо: Все изложенное выше не оправдывает того веса и влияния, которым пользовался **Мензбир** в университетском мире и широкой массе нашего тогдашнего передового общества.. Как будто ранг ученого или таланты лектора определяют положение общественного деятеля при свободной, подлинно демократической ее оценке...

Нет, конечно, и по отношению к **Мензбиру** эти сомнения тем более уместны, что как раз по адресу Михаила Александровича слово «популярность» прозвучало бы какой то ложной, чтобы не сказать фальшивой ноткой.

В самом деле. Не легко назвать другого деятеля сходного общественного ранга, столь же мало падкого до «популярности», как **Мензбир**, никогда не афишировавшего себя ни в либеральной прессе, ни на университетских актах, ни на раутах и банкетах, ни в так называемых «Ученых Клубах» типа прежнего так наз. «Литературно-Художественного Кружка», с его позорной смесью карт, искусства и вина...

В этом естественном пуританизме — полное отличие от поведения многих либеральничавших о ту пору деятелей Высшей Школы, достигавших своей цели, популярности, но отдаленно не имевших нравственного обаяния и авторитета **Мензбира**.

В чем же причина этого **морального** авторитета? Где же корни необычного влияния **Мензбира** на окружающих, на общество, на профессуру, на студенчество?

Они таились в **Мензбire**, как *человеке*!

Всего прежде здесь приходится отметить две черты: серьезность к жизни и суровую принципиальность.

Где-бы и когда-бы, по какому бы вопросу не случилось **Мензбиру** соприкасаться с жизнью, — в его поступках не было ни тени расхождения между словом, убеждением и делом.

В полное отличие от попадавшихся порой в истории науки выдающихся ученых типа «Крайтона» и «Юнга» — совмещавших звание профессора с талантами танцоров, дуэлянтов и гимнастов, — не в пример не малому числу наших крупнейших, выдающихся писателей, не исключая нашего виднейшего философа, в груди которых слишком часто сталкивались «Фаустовские» две души, — раскола этого не замечалось в **Мензбire**, в котором стиль ученого и человека были нераздельны.

Жизненным девизом **Мензбира** возможно было бы назвать два слова, сказанные **Шиллером**: «Ernst ist das Leben!» «Жизнь — серьезна!»

Между **Мензбиром**-профессором и **Мензбиром**, как человеком не было разлада или раздвоения.

И как значительно звучало слово **Мензбира** на лекции и как внушительно вживался он в каждую мысль, даваемую аудитории, — также внушительно звучало его слово в повседневной речи, так ответственно-серьезно и значительно слагалась его жизнь...

Более того. Знакомый с **Мензбиром** долгие сорок лет, но лишь по линии служебной или ученической и посещая **Мензбира** приватно только по служебным поводам, я никогда не мог вообразить его на положении «обывателя»: за картами, за шахматами и.. да простится мне со стороны курильщиков — за табаком, сигарами и папиросами..

Все это органически не шло к нему, настолько не к лицу ему казалось все нерациональное, идейно неоправданное, неприемлемое эстетически, этически, гигиенически... Все это было ему чуждо...

Выражаясь языком известной героини Пушкина, носящей имя патронессы нашего Университета, можно утверждать, что эти бытовые слабости или уступки не вязались с представлением о **Мензбire**, невольным исключавшим всякую возможность допущения того, чтоб с «его сердцем и умом быть чувства мелкого рабом»..

Но даже более того. За 40 лет знакомства я не видел **Мензбира** «хохочущим» и мог бы, кажется, пересчитать те случаи, когда на смуглом, выразительном лице его, подобно ответу зарницы, промелькнула беглая улыбка.

И не потому, чтобы за отношением Мензбира к этой приватной повседневной жизни укрывалось что либо подобное «Contemptus Mundi», отчуждение от жизни.

Хорошо осведомленный в философии, истории, литературе, в области искусства и серьезного театра, в свое время, в ранней молодости увлекавшийся Шекспиром, **Мензбир** самой широтой своего умственного горизонта застрахован был от замыкания в тесные границы «цеховой науки» и в своих блестящих выступлениях, как лектор и как автор популярных очерков по Дарвинизму, он достаточно наглядно доказал свою готовность и отзывчивость служению общества.

Достаточно напомнить характерное признание **Мензбира**, как автора «Исторического Очерка воззрений на Природу»:

— «Я далек от мысли» — признается **Мензбир** — «указывать на науку, как на единственное и исключительное прибежище». «Наука представляет собой только одну из струн лиры..» «Наука, не знающая ничего, кроме себя, чужда человеку, как чужд нам и жалок тот запыленный манекен, который выведен бесмертным поэтом в лице Вагнера..»

В этих немногих строках **Мензбир**-человек невольно заслоняет Мензбира-ученого, и это не смотря на то, что именно в науке о Природе Мензбир изживал свои не только познавательные, но и эстетические интересы, находя в ее созданиях источники безмерного очарования.

И все же, как былой участник процветавшего в Москве «Шекспировского Клуба», сам лично выступавший некогда на сцене в роли Гамлета, — **Мензбир** как будто на всю жизнь унес с собой тень «датского Принца», как прообраз вдумчивой, глубокой жизни и ответственности за нее.

Именно к людям стиля Мензбира относятся слова, когда то сказанные **Эменсоном** о необходимости смотреть на жизнь «по-шекспировски», расценивать ее не ниже, чем шекспировские драмы.

Меткое, мудрое практическое правило, — увы! раскрывшееся для миллионов лишь в итоге нынешней войны, — так совершенно приложимо к Мензбиру, которого судьба не оградила ни от ранних жизненных утрат, ни от жестокой «**Лировой** Трагедии», — видеть себя под старость изгнанным из своего родного «царства», вынужденным бросить стены своего родного учреждения, чтобы ценой утраты власти и общественного положения — сохранить достоинство и право человека.

Скорбная, трагическая аналогия, ибо хотя с последовавшей Революцией **Мензбир** опять вернулся в Университет на положении его главы, все же события одиннадцатого года навсегда оставили надлом в его душе, быть может обусловивший суровый эпилог этой суровой жизни.

Всем нам памятен этот жестокий эпилог: Как будто в завершение суровой аналогии с шекспировским героем, жизнь поразила Мензбира жестоким роковым ударом за три года до его кончины, и в душевный мрак, что охватил этот могучий дух, жизнь «по-шекспировски» внесла свой скорбно-примиряющий аккорд и элегическую ноту, не лишивши старого ученого своей «Корделии» в лице его самоотверженной, самозабвенной старшей дочери, три года не спускавшей глаз от угасавшего в безмолвии отца.

Так кончилась эта большая, вдумчивая, строгая, идейно-боевая, самобытно-творческая жизнь.

И заканчивая этот бледный очерк, посвященный памяти моего старого учителя, я, отвечая на вопрос о подлинных причинах необычного признания **Мензбира**, как видного общественного деятеля, как профессора и как ученого, могу уверенно сказать, что корни этого влияния таились в Мензбуре, как **человеке**, в его нравственном, моральном облике.

Были и будут орнитологи, зоогеографы, анатомы, не уступающие Мензбиру ученым рангом и новаторством в науке и преподавании.

Но не часто мы встречаем крупного ученого и деятеля Высшей Школы, столь же неподкупного, прямого, строгого к себе и к делу, столь же самобытного и целостного в своих взглядах, столь же чуждого поверхностного честолюбия, столь же проникнутого чувством долга к жизни и ответственности за нее, короче: **человека, столь же скромной с виду а на деле яркой индивидуальности...**

Словами величайшего поэта можно было бы сказать: «Да, высший дар сынов Земли — в их индивидуальности!» добавим: «безраздельно отданной служению Обществу!»

Именно в этом смысле память о Михаиле Александровиче **Мензбуре**, как о большой и яркой индивидуальности, как о большой моральной силе, продолжает благотворное свое влияние на всех, имевших счастье знать его при жизни: на бывших его учеников, сочленов Общества, бывших сотрудников и сослуживцев, в подтверждение глубокой мысли, высказанной некогда большим ученым, мысли, столь глубоко своеобразной, ибо извечно-современной и сводившейся к признанию, что

«**Моральная природа человека — выше и ценнее интеллектуальной**».

10 Октября 1945.

Москва. — Дарвиновский Музей.

Памяти Сергея Алексеевича Чаплыгина как ревнителя Высшего Женского Образования

8 августа 1952

Охватывая общим взглядом всю плеяду выдающихся бывших строителей нашей родной культуры, можно без труда подметить два различных стиля их служения.

Одни — крупнейшие ученые — бывали преданы только своей науке и лишь ей одной.

Вступали они в жизнь и уходили из нее, не прикоснувшись к ней во всей ее манящей широте, не оставляя вещно-осозательных следов за гранями научных книг и аудиторий.

Доверяя книгам свои мысли, действительно влияя устным словом с кафедры, они, **как люди**, оставались до конца в тени, скрываясь за своим ученым званием, за своею «тогой».

Что же удивительного, если память о таких бывших властителях пера и кафедры обычно не переживала современников и сохранялась разве в исторических анналах.

Несравненно реже выступали на арену жизни деятели умственной культуры, совмещавшие служение науке и запросам дня.

Настороженно-вдумчиво прислушиваясь к его зову, эти гении научной мысли и общественного подвига умели сочетать вершины человеческого знания с горячим откликом на требования жизни.

Именно таким героем мысли и общественного долга был Сергей Алексеевич **Чаплыгин**.

Не легко вообразить условия рождения, детства, юности, более «серые», чем те, что окружали будущего гения ума и воли.

Ранняя смерть отца, скромного служащего за торговыми прилавками и редкая самоотверженность трудолюбивой матери как будто заронили в ум и сердце ее первенца все основные свойства его нравственного облика: практичность, твердость и упорство в достижении намеченного, чуткость к людям, зароненную, быть может, выпавшей на него в детстве долей — нянчить своих маленьких братишек и сестреночек.

И, однако, как при жизнеописании великих гениев пера и мысли, будь то **Гете**, **Герцена** и **Горького**, мы тщетно стали бы пытаться отыскать истоки их таланта в дарованиях их предков — так сверкающий талант и самобытность будущего академика **Чаплыгина** не объяснит «наследственностью» от родителей.

Коснуться «внешних факторов», содействовавших этому таланту, проследить источники и стимулы этой большой и яркой индивидуальности — под силу только выдающимся сподвижникам Сергея Алексеевича, его ученикам, преемникам и продолжателям.

И потому да будет нам позволено, минуя творчество **Чаплыгина**-ученого, коснуться его роли в сфере глубоко отличной: именно, как гениального ревнителя высшего женского образования.

В мыслях переносимся за полстолетия назад.

Скромное крылечко в узком и невзрачном переулке близ Арбата. Ряд жилых квартирок, наскоро преобразованных в подобие лабораторий, или лекционных комнат.

Перегруженные до отказа, каждая из них жила по своему, все вместе — в направлении единой цели.

Вот — ближайшая из комнат: группа девушек за микроскопами, а через стену — семинар по философии, по Канту, или Лейбницу; — там — лекция по Высшей Математике, или Истории, а рядом — по Ботанике и Дарвинизму.

Перед нами — первые ростки бывших Московских Высших Женских Курсов.

Двойственное чувство вызывала эта сотня девушек, толпившихся в чужих, наемных стенах: чувство горечи при виде скудости тех стен и умиления перед усердием их обитательниц.

Да и могло ли оно быть иначе?

Злейшие враги высшего женского образования, Александр III, и Победоносцев («Прокурор Святейшего Синода») в совершенстве подготовили ту атмосферу недоверия и неприязни, что сквозили и у их преемников, в указе царского правительства о «Высших Женских Курсах», разрешенных только в виде «опыта», как нечто временное, лишь едва терпимое...

Этой политике вражды и недоверия возможно было противопоставить лишь одно: горячий энтузиазм авангарда девушек, что встали в первые ряды в борьбе за право получения высшего образования.

А за спиной этих немногих избранных томились тысячи других, рассеянных по всей стране, подобно чеховским «трем сестрам», рвавшимся в Москву, к идейной жизни, для идейного служения.

И, однако, тщетны были их порывы, всего прежде из-за недостатка стен.

Раздвинуть их для тысяч русских женщин, приоткрыть для них сокровищницы мировой культуры, — значило создать московский женский Университет.

Но не легка была эта задача. В пору возрастающей реакции пробиться через стену нескрываемой враждебности к самой идее высшего образования для женщин; заручиться откликом тогдашнего передового общества; привлечь необходимые симпатии и средства, — все это могло бы быть под силу только человеку высочайшей умственной культуры, властной воли и высокого авторитета, как ученого, организатора, с «хозяйским глазом» и широким сердцем, чутким к молодежи, с пониманием ее исканий, ее дум и чаяний.

Но именно таким и был Сергей Алексеевич **Чаплыгин**.

И действительно, проходит менее десятка лет (1905—1913) со времени избрания его на пост Директора Московских Высших Женских Курсов и мечты десятков тысяч русских женщин воплотились в жизни сказочно-чудесно.

Как в старинных сказках, стали вырастать на пустырях окраины Москвы чудесные дворцы наук и среди них то замечательное здание, одно из лучших и красивейших в Москве, в котором разместились ныне два крупнейших учреждений: Гос. Пединститут имени В.И. **Ленина** и Гос. Дарвиновский Музей.

Но, как одно великолепие хором еще не создает Храма Науки, так на очереди стал вопрос о приглашении преподавательского персонала. Пополнению его содействовало — по иронии судьбы — бывшее царское правительство.

Известно, как его грубейшим произволом вызван был уход из Университета лучших его сил в 1911 году.

Ушедшие профессора были немедленно приглашены **Чаплыгиным** на Курсы, получившие, таким путем, цвет профессуры Университета, разгромленного царизмом.

Что же удивительного, если к возглавляемым **Чаплыгиным** Московским Высшим Женским Курсам, как к передовому Учреждению, тянулось о ту пору все, что было прогрессивного, новаторского, молодого, в частности, основанный так незадолго перед тем Биологический Музей имени Дарвина.

Хотя и опиравшийся на десять лет предшествовавших сборов, названный Музей, основанный формально в год вступления **Чаплыгина** на пост Директора МВЖК (1905), за время менее десятилетия успел развиться в учреждение, не имевшее в ту пору себе равного в Германии.

И было лишь естественно связать судьбу этого «Дарвиновского Музея» с молодым московским женским университетом.

С трогательным, благодарным чувством вспоминаются сейчас первые годы жизни этого Музея под эгидой Высших Женских Курсов.

Будучи вначале собственностью основателя, Музей долгие годы пользовался помещениями Курсов, как и правом получения беспопылинно из заграницы ценных экзотических коллекций.

И позднее, после передачи Дарвиновского Музея Курсам (1913) личные распоряжения Сергея Алексеевича повторно помогали то сверхсметными дотациями, то по линии хозяйственной.

Невольно забегая несколько вперед, нельзя не указать, как много позже, незадолго до войны, **Чаплыгин**, посетив Музей, идя по залам, узнавал, благодаря своей феноменальной памяти, ряд экспонатов, находившихся в Музее со времен его директорства, — т.е. за двадцать с лишним лет.

Мы преднамеренно остановились на этом ничтожном с виду эпизоде, чтобы показать, как гениальный математик и организатор, до отказа занятый по ряду учреждений, кроме Курсов, находил и время, и возможность проникать в детали каждого Учебно-вспомогательного учреждения, включая тех, которые по содержанию стояли далеко от профиля его научных интересов.

И легко понять, что при таком широком умственном диапазоне и «хозяйском» глазе самого Директора, **Чаплыгина**, росли не только стены, но и содержание подсобных учреждений Курсов, будь то Химико-Физические Лаборатории, или Медицинские Институты.

На основе каждого из этих вспомогательных, подсобных учреждений, созданных заботами или содействием **Чаплыгина**, позднее выросли самостоятельные Институты.

Так, на базе первого по времени строительства Анатомического Театра и Патолого-анатомического Института создан при Советской власти **Медицинский Институт** имени **И. Сталина**.

Второй по времени строительства, обширный корпус Химико-физический, разросся в Институт Тонкой Промышленности имени **Ломоносова**.

Главное здание бывших Женских Курсов, «Аудиторный Корпус», — тот чудесный по архитектуре, подлинный «Дворец Науки», о котором говорилось выше, — превратился в Гос.Педагогический Институт имени **В.И. Ленина**.

И только **Дарвиновский Музей** сохранился по идее и названию, только превратившись из Учебно-Вспомогательного аппарата в массовый Био-Музей, второй в стране по своему богатству, в учреждение мирового ранга, только ожидающее новых стен, чтобы поведать об итогах полувековой работы, начатой на Женских Курсах, при директорстве **Чаплыгина** и так провидчески им оцененной.

Многие десятки тысяч «слушательниц» Женских Курсов, самых разных специальностей, химички, педагоги и медички, уравненные в правах с окончившими Университеты, покидали Курсы с благодарным чувством к человеку, волей и умением которого осуществились вековые чаяния русской женщины на получение законченного высшего образования.

Неудивительно, что и в сознании Сергея Алексеевича годы, отданные им делу создания первого в России Женского Университета, сохранились до закатных дней волнующей и светлой полосой его прекрасной жизни.

Ярко-убедительно сказало это много позже, на торжественном собрании, посвященном празднованию 50-летней научной деятельности **Чаплыгина**.

Морозный вечер 3 февраля 1941 года.

Светлая, огнями залитая зала **Дома Авиации**.

Бесчисленные делегации, собравшиеся чествовать великого ученого и гражданина. И на очереди — ответное слово юбиляра.

Годы и работа мысли наложили свою руку на монументальное чело мыслителя под копнами седых волос, но зоркие глаза из-под нависших век смотрели так же пронизательно-приветливо, как и в былые годы.

Просто-деловито прозвучало благодарственное слово юбиляра, но в ответе на приветствия от бывших слушательниц **Курсов** голос старого ученого заметно дрогнул нотами особой задушевности.

И всем собравшимся в тот вечер стало совершенно ясно, что из всех забот, трудов, всего большого, созданного на прекрасном жизненном пути **Чаплыгина**, — «Женские Курсы» были и остались для него самой заветной, яркой, первой, подлинной любовью...

Тихо, еле слышно прозвучала эта часть ответной речи юбиляра в замеревшей от волнения зале. И невольно чудилось, что в этот вечер, даже в апогее своей славы, он незримо видел себя мысленно перенесенным за тридцатилетие назад, в другую, тоже светлую, большую залу, на торжественном открытии построенного им, **Чаплыгиным**, Дворца Науки.

И, переключаясь с адресами полувекового юбилея, словно оживали в памяти **Чаплыгина** приветные слова, тогда же обращенные к нему от имени курсисток, заключивших свой привет так трогательно и проникновенно:

«Быстро пройдут лучшие годы жизни, — годы ученья. Мы — недолгие гости в милых этих стенах. Большинство из нас скоро уйдет в трудную жизнь, И придут на наше место другие.. и еще другие.. и тоже уйдут.»

«Но у всех нас, уходящих, останется память об одном, родном всем нам доме, где прошла светлая пора молодости; где объединенные одним общим именем слушательниц Московских Высших Женских Курсов, набирались мы сил и знаний для самостоятельной жизни, где самым близким руководителем и другом был любимый наш директор, гордость наших курсов, Сергей Алексеевич **Чаплыгин**.»

«Счастья и сил ему на долгие, долгие годы...»

Можно уверенно сказать, что если бы не война, — жизнь в полной мере оправдала бы этот сердечный, молодой призыв.

И, мысленно охватывая все последующие годы творчества Сергея Алексеевича, хочется облечь их в вещие слова, когда-то сказанные нашим задушевнейшим писателем:

— «Отдать идее все, — молодость, силы, здоровье, быть может, умереть для общего блага, — какой высокий, какой счастливый удел!»

Чаплыгин не дожил до светлых дней наших побед. Он умер накануне перелома в ходе исторических боев под Сталинградом, умер вдалеке от горячо любимой им Москвы, дважды чудесно закрепив в ней память о себе.

На западной окраине города, близ древних стен Новодевичьего Монастыря, прекрасным зданием-дворцом бывших Московских Высших Женских Курсов, у восточной, близ холмистых склонов Яузы, — замечательной постройкой Института Аэро-Гидро-Динамики.

Там — колыбель высшего женского образования в Москве.

Здесь — цитадель Советской авиационной техники.

Но, если стены и работы «ЦАГИ» неразрывно связаны донныне с именем его создателя, то, к сожалению, ничто не говорит в стенах бывших Московских Высших Женских Курсах (стенах, — ныне занятых **Педагогическим институтом** имени В.И. **Ленина**) — о гениальном русском математике-ученом, некогда создавшем этот подлинный дворец науки пламенем своей души.

Заканчивая этот беглый очерк роли и значения С.А. **Чаплыгина**, как величайшего поборника высшего женского образования, невольно хочется связать эту его заслугу с собственно научной сферой его творчества в единый обобщенный образ.

Здесь достаточно вернуться за десятилетия назад.

Первые грозные и героические дни нашей Великой Обороны.

Вражеские самолеты над Москвой. Насыщенные злобой и термитом, воровски проносятся они в ночной тиши над городом и всего прежде его западной окраиной.

Стоя на посту охраны здания-дворца, когда-то возведенного **Чаплыгиным** для Высших Женских Курсов и следя за движущейся среди звезд злодейской точкой, вражеским аэропланом, каждое мгновение готовым уничтожить этот храм науки и несметные его культурные сокровища, — мы твердо верили, что отстоим культуру, честь, достоинство и счастье **Родины**.

И коренилась эта вера в мудрости **Вождя** и мужестве Советских воинов.

Не даром с первым проблеском зари враг обращался в бегство при одном лишь приближении Советских летчиков.

И вот, следя за вражескими аэропланами, гонимыми на Запад нашей авиацией, взоры невольно обращались к образу великого ученого, Сергея Алексеевича **Чаплыгина**, сумевшего так гениально перекинуть мост от самой отвлеченной мысли к царству алюминия и стали.

И, однако, властелин над миром мысли и воздушных волн, **Чаплыгин** был не меньшим знатоком глубин исканий человеческой души, откликнувшись на зовы русской девушки созданием Высшей Женской Школы.

И единственное оправдание настоящих строк, — во мнении их автора, бывшего рядового скромного сотрудника бывших московских Высших Женских Курсов при директорстве **Чаплыгина**, — да будет пожелание, чтобы за мировым ученым, гениальным математиком и академиком, Сергеем Алексеевичем **Чаплыгиным**, — не оказался недооцененным образ **человека** чуткой и большой души, так совершенно воплощенной в замечательных наследиях его, и, всего прежде в самом раннем, национальном и патриотическом: на ниве *женского образования*.

Основатель (1905) и Директор Дарвиновского Музея в Москве доктор биологических наук

Москва. Дарвиновский Музей

8 Августа 1952 г.

/Профессор А.Ф. *Котс*/

Николай Константинович Кольцов

Не легко найти другое имя русского ученого, столь безраздельно признанного в мировой науке и так равноценно у себя на родине, жизнь ученого столь смело выступившего открыто в самую трагическую пору Родины и так нелепо, неожиданно прервавшаяся, как жизнь Николая Константиновича **Кольцова**.

Один из самых выдающихся биологов московской школы, чтобы не сказать самый талантливый из всех его питомцев за столетие ее обоснования, **Кольцов** и его жизнь — скорбный поучительный пример траги-

ческого столкновения в одной груди большого самобытного ума, гражданской смелости, кристальной чистоты души и обаяния чуткого, большого человека.

Мы начнем с **Кольцова**, как ученого.

Припоминается его защита магистерской диссертации (Осенью 1901), обширной монографии, работы, посвященной трудному вопросу уже замиравшей, правда, о ту пору области Сравнительной Анатомии. Громадная и до отказа переполненная аудитория, блестящий диспут, четкое парирование диспутантом делавших возражений и единогласное присуждение искомой степени «Магистра».

Но характерно, что после этой первой и фундаментальной монографии **Кольцов** отбросил навсегда Сравнительную Анатомию, как тему для научного исследования.

В отличие от ряда современников, пытавшихся ценой «заумных» умозрений оживить эту когда то столь необходимую и ценную для дарвинизма область зоологии, **Кольцов** решительно переключился на исследование в другой науке, более юной и сулившей подлинно новаторские достижения — к цитологии, учению о клетке.

Снова, как и при писании первой диссертации, повторные и длительные посещения приморских станций Средиземноморья, Вилла-Франки и Неаполя. В итоге — диссертация на звание доктора, венчающую степень для занятия университетской кафедры.

В этой неемкой, но насыщенной новаторскими фактами и мыслями работе, автор ее выдвигает новое учение о «формообразующих», «скелетных» элементах в клетках, будь то многоклеточных животных, или одноклеточных, простейших организмов.

Абсолютно новая и плодотворная концепция!

Но вот, что замечательно! Работа, глубоко насыщенная новыми воззрениями на структуру клеток, открывавшая дотоле неизвестные возможности проникнуть в самую тончайшую их структуру, а тем самым новую эпоху в разработке клеточной теории, — работа, гарантировала безусловно получение докторской ученой степени.

И тем характернее, что **Кольцов** категорически сам отказался от использования работы в роли диссертации, от получения ученой степени, определявшей будущность тогдашнего ученого.

Причина этого отказа та, что за творением великого биолога **Кольцова**, частью затеняя его творчество, стояли убеждения **Кольцова**-гражданина.

Вот, что пишет сам **Кольцов** об этом эпизоде.

«Защищать свою диссертацию я не стал. Она была принята Физ. Мат Факультетом Моск. университета и назначена к защите в Средине Января 1906 года, через несколько дней после кровавого подавления Декабрьской Революции. Я отказался защищать диссертацию в такие дни при закрытых дверях — студенты бастовали — и решил что не нуждаюсь в докторской степени.»

В этих немногих строчках — весь **Кольцов**, в котором голос гражданина заставлял умолкнуть интересы величайшего ученого.

И потому, минуя собственно научные исследования **Кольцова**, получившие тогда же мировое, восхищенное признание, коснемся менее известных, ибо позабытых выступлений нашего ученого, как гражданина своей Родины.

А выступления эти были беспримерны для своей поры — мы разумею грозный 1905-ый год — московского вооруженного восстания.

Достаточно беглого взгляда на обложку небольшой брошюры:

Н.К. Кольцов

Приват-Доцент Московского Университета.

«Памяти павших»

Жертвы из среды московского студенчества в Октябрьские и Декабрьские дни.

Москва, 1906.

А содержание брошюры?

За перечислением десятков умерщвленных следует ряд выписок из некоторых передовых тогда газет, решавшихся опубликовывать кошмарные события тех кровавых дней, убийства, совершавшиеся озверелой бандой черносотенцев, полицией и царской армией на улицах Москвы.

Но дело не в одной перепечатке этих жутких мартирологов, хотя и их было достаточно, чтобы привлечь к ответственности автора брошюры.

Дело в той оправе гневных слов, которою насыщена была эта брошюра, автора, не убоявшегося высказать открыто то, что молча разделялось мыслями и чувствами миллионов русского народа, и в особенности москвичей.

А что сказать о заключительном абзаце первой части названной брошюры, о призыве автора, **Кольцова**, к привлечению к суду... тогдашнего московского генерал-губернатора, начальников «карательных отрядов» и министров.

Чтобы оценить то мужество, которого потребовало издание этой брошюры с указанием авторского имени, достаточно напомнить, что ведь то была пора самой жесткой временной реакции при полном гробовом молчании тогдашней профессуры, когда самими «передовыми» политическими деятелями ее считались или, правильнее говоря, расценивали себя «Кадеты», когда даже левое крыло этой господствовавшей в профессуре партии, — считалось «революционным».

Что же удивительного, если со дня на день ожидали неизбежного ареста автора брошюры и сама она — в профессорских кругах расценивалась не как вопль благородного ума и сердца, а лишь как ненужная «бравада».

К счастью, опасения за автора брошюры были ложными. Есть нравственная сила правого дела, перед которой уступили даже царские сатрапы, палачи и инквизиторы.

Что же до автора брошюры, то **Кольцов**, исполнив свой гражданский долг, вернулся к прерванным своим работам в Университете при возобновлении его занятий в 1907 году.

Но вот, что показательно. Не вызвавшая кары и преследования со стороны правительства, та же брошюра, выявивши подлинное политическое лицо **Кольцова**, навсегда «расстроило» его отношения с «официальной профессурой» того времени.

Прошло не больше пары лет, как двери университета закрылись перед ним и Николай Константинович был вынужден перенести свои научные работы на свою квартиру, а свое преподавание приурочить к обновившимся тогда Московским Высшим Женским Курсам.

Этот вынужденный отрыв от университета вынудил **Кольцова** к новому печатному выступлению, лишь косвенно касавшемуся и правительства, но адресованному всего прежде университетской профессуре.

«К **Университетскому вопросу**» — под таким заглавием появилась в 1909 году солидная брошюра, раскрывавшая все недостатки высшего тогдашнего образования и все бесправие молодых ученых, состоявших в университетах.

Можно, не без горечи сказать, что напечатание этой книги более взбудоражило московский мир ученых, чем брошюра, посвященная жертвам декабрьской Революции.

«Словно взорвавшаяся бомба» — грянула она на безмятежный мир академических авгуров, в том числе и некоторых либеральничавших «звездоносцев».

А виновник этого «академического тайфуна», сам **Кольцов**, с обычным для него успехом продолжал свои научные работы по биологическим приморским станциям Черного Моря и различных зарубежных стран, а вне каникул — занимаясь чтением лекций и практических занятий на Московских Высших Женских Курсах, полноте, серьезности которых позавидовать могли бы и крупнейшие из университетов Западной Европы.

К этому же времени для пополнения штатов молодых преподавателей на Женских Курсах состоялось приглашение пишущего эти строки, вскоре после окончания московского университета, на означенные Курсы.

Это приглашение меня «помощником преподавателя» на Курсы возымело самое решающее значение для меня и для основанного мною Дарвиновского Музея.

И лишь здесь, при повседневном личном, как и бытовом общении с **Кольцовым** можно было оценить всю тонкость, и всю высоту культуры этого чуткого и обаятельного человека.

Для особого внимания его ко мне имелись, правда, и особые причины.

Дело в том, что вскоре по уходе Николая Константиновича из Университета, сходная судьба постигла самого меня, оставленного при университете для приготовления к профессорскому званию.

Ближайшим поводом к этой «отставке» оказалось упомянутое выше приглашение меня помощником преподавателя на Женских Курсах и, пожалуй, еще в большей степени, мое намерение перевода на Курсы незадолго перед тем основанного мною Дарвиновского Музея.

И хотя оставить службу ассистентом в университете равносильно было полному отказу от академической карьеры — ибо только при наличии «хороших» отношений с профессурой можно было обеспечить для себя успешность сдачи магистерского экзамена (этого главного тогдашнего «барьера» на пути к академической карьере..), — я без колебаний сделал выбор и в итоге двери университета на ближайшее десятилетие закрылись для меня.

Тем задушевнее и ласковее был прием меня на Женских Курсах в только что основанной Зоологической Лаборатории возглавлявшейся **Кольцовым**.

Вопреки огромной тесноте ее, уютившейся в наемном помещении (в Мерзляковском переулке) было предоставлено мне место для шкафов Музея и возможность выписки без пошлины из заграницы новых экспонатов, правда целиком на мои личные средства- заработок, получаемый на Курсах.

Более того. Как бы в порядке компенсации за жертвенный уход мой ради «Курсов» из Университета было выхлопотано **Кольцовым** перед Биофакультетом Курсов поручение мне временного Курса «Анатомии человека» и под несколько завуалированным именем («Демонстрационный Курс Зоологии») — курс лекций по Эволюционному учению.

Не могу не вспомнить, как на моей первой лекции по Анатомии в большой амфитеатром выстроенной новой аудитории я, вообще довольно смелый в лекционном деле, — задержался несколько на этот раз (обычный промах молодого лектора, не приучившегося укладываться в своей речи в жестко лимитированный час!) и как присутствовавшему на лекции **Кольцову** приходилось извиняться за меня и успокаивать сердившегося очередного лектора за вынужденную задержку, ссылкой на неопытность мою, как начинающего лектора.

Но еще более характерна — и выяснившаяся лишь много позже — деликатность Николая Константиновича в деле регулярной и порой весьма значительной оплаты стоимости перевозок и доставок мною получаемых из заграницы экспонатов. В продолжении долгих лет **Кольцов** ни разу не упомянул о том, что получаемые Дарвиновским Музеем транспорты оплачивались им за счет кредитов возглавляемой им Лаборатории.

Другой пример. Повторно обращавшись ко мне с просьбой инвентаризировать учебные коллекции Зоологической Лаборатории и не дождавшись исполнения мною этой просьбы, в сущности моей обязанности, как ведающего «музейным делом» (упущения, объяснявшегося моим стихийным отвращением ко всякой регистрации и письменной документации) **Кольцов**, этот крупнейший о ту пору, мировой ученый, ничего не говоря, сам выполнил эту работу, своим четким почерком заполнивши сотни страниц лабораторной «Инвентарной Книги».

Не совсем обычная картина! Мировой ученый и Директор, добровольно, молча и негласно выполняющий работу, в сущности обязанность своего юного помощника, в ту пору не имевшего научной степени.

Но, разумеется, важнее, чем все эти отступления от общепринятой лабораторной практики — та роль, которая тогда же выпала на долю Николая Константиновича в деле сохранения Дарвиновского Музея и определившая всю его будущность:

Мы разумеем тот решающий и угрожавший сделаться навеки роковым момент, когда, по объявлении конкурса на кафедру «Учение Дарвина» откликнулись два седовласых кандидата.

Их академическому имени и стажу юный лектор, автор этих строк, смог противопоставить только свой Музей и свою жертвенно доказанную преданность Московским Высшим Женским Курсам, да, пожалуй, свое юное энтузиастическое слово пламенного лектора.

Было глубоко очевидно, что по приглашении одного из седовласых кандидатов, пишущему эти строки оставалось лишь покинуть Курсы, прихватив с собой и свой Музей, который в частной обстановке был, конечно, обречен на вымирание.

Решать дилемму приходилось всего прежде Николаю Константиновичу **Кольцову**, возглавлявшему в ту пору все касавшееся преподавания Зоологии на Женских Курсах.

И здесь **Кольцов** — при энергической поддержке Сушкина, бывшего также курсовым преподавателем, решительно содействовал тому, что двух почтенных старцев «отодвинули» и кафедру оставили за основателем Музея, а тем самым обеспечена была и его будущность.

Мы кончаем. За истекшие полвека наш Музей сумел занять одно из первых мест среди музеев всей Москвы, и если сотни тысяч посетителей Музея ныне оставляют его стены с чувством неподдельной благодарности, и, если в будущем, при возведении собственного здания, миллионы лиц будут проникнуты еще гораздо более глубоким чувством, покидая его стены, — то частица этой их признательности пусть незримо обратится к памяти крупнейшего ученого и чуткого, отзывчивого человека, бывшего одним из самых ранних покровителей Музея и его защитником.

И если специальные научные работы Николая Константиновича надолго сохранят свое значение в мировой науке, как классические образцы в труднейшей области всей биологии, то для широких масс пусть сохранится светлое предание, что некогда, перед лицом угрозы **Дарвиновскому Музею**, своевременно в лице **Кольцова** нашлась авторитетная рука и — что важнее — чуткий ум, понявший, что важнее, чем ученые седины и ученые дипломы — жертвенность идеи и любовь, и пафос молодого творчества.

Говорить о всех последующих годах деятельности **Кольцова** не приходится по ряду обстоятельств, всего прежде потому, что с передачей Дарвиновского Музея Женским Курсам, и всецелой занятостью моей Музеем, моя связь с Лабораторией Кольцова целиком отпала.

Разразившаяся вскоре затем первая империалистическая война, сменившаяся нашей Великой Социалистической Революцией настолько в корне изменила весь научный строй страны, что на его общем фоне — в первые по крайней мере годы — роль отдельных деятелей науки отступила на второе место.

Лишь по миновании гражданских войн и внешнего, по крайней мере, умиротворения страны жизнь Советского ученого вступила в новую, энтузиастическую фазу своего развития.

Но говорить об этой плодотворной и кипучей деятельности **Кольцова**, как Советского ученого, как основателя особого научно-исследовательского Института и его Директора, как Председателя ряда Конгрессов, как профессора Московского Университета, обновленного со стороны преподавательского персонала путем изгнания бездарных царских ставленников-проходимцев (после разгрома Университета царскими громилами 1911 года), университета широко раскрывшегося для женщин — не приходится. В Советскую культуру наш **Кольцов** вошел как мировой ученый (в частности, как в звании «почетного доктора Эдинбургского университета», а для знавших Кольцова со времен царизма — как единственный ученый с европейским именем, когда-то бросивший открыто вызов царским прислужникам и палачам в кошмарный год расстрелов 1905 года....

И тем горестнее, тем обиднее, что эта замечательная жизнь русского ученого прервалась так внезапно и так неожиданно.

И в заключение да будет мне позволено здесь привести слова, когда-то сказанные над открытым гробом моего бывшего некогда учителя:

Всякая смерть настраивает на раздумье и оно особенно уместно именно сегодня.

Это было **тридцать** с лишним лет тому назад... когда совместно с рядом выдающихся ученых того времени **Кольцов** взял на себя почетнейшую роль в организации в Москве Первого Женского Университета, как прообраза и прототипа будущей свободной Высшей Школы.

Долгие двадцать лет стоял покойный во главе им созданной Зоологической Лаборатории и ряда связанных с ней курсов, позавидовать которым было бы уместно величайшим университетам зарубежных стран.

Многие тысячи «Кольцовских» учениц рассеялись с тех пор по нашей Родине. Но лишь немногие из них догадывались о научном ранге их учителя.

Только ближайšie его ученики и ученицы знали, что талантливый организатор, выдающийся ученый-лектор и писатель, обаятельный, кристально-чистый человек и смелый гражданин, открыто бросивший когда-то вызов университетской бюрократии и царизму, столь доступный в обращении молодой **Кольцов** уже в ту пору был овеян мировой славой общеевропейского новатора-ученого.

Можно уверенно сказать, что за все время долгого существования Московского Университета не было зоолога, питомца его стен, который в сходной мере совмещал бы дарования научного организатора, исследователя и лектора, который пользовался бы такой же мировой известностью, как молодой **Кольцов**.

Новатор-пионер в одной из самых трудных дисциплин, в науке о структуре клетки, молодой Кольцов уже в ту пору был виднейшим и известнейшим цитологом России, с мнением которого прислушивался весь ученый мир.

И эта жизнь ученого-новатора прервалась. Вместе с ней пресеклась и другая жизнь, его преданной помощницы, жены и друга: преждевременно угасшему ученому-учителю последовала добровольно и его бывшая ученица, а позднее верная соратница на жизненном пути, долгие тридцать лет делившая с ним и радости, и горести большой и сложной, многогранной жизни, не всегда созвучной духу времени, но неизменно искренней, правдивой и идейно-жертвенной.

«Сильнее Смерти» — можно было бы сказать словами русского писателя, которого при своей жизни так любил покойный.

И сейчас, в этот прощальный час, нам, бывшим молодым соратникам покойного в нашей бывшей совместной радостной борьбе за Женское Высшее Образование, нам остается только с благодарностью склониться перед прахом, пред бранными останками двух жизней, преждевременно угасших, но так беззаветно отдававшихся служению великим идеальным целям:

Мировой Науке, русской Женщине, родной Культуре!

Памяти Петра Петровича Сушкина

1948

«Приходите завтра в Кабинет, я Вас познакомлю с Сушкиным ..» «Вы от него узнаете все нужное!» — так обратился полвека тому назад профессор **Мензбир** к пишущему эти строки, бывшему в ту пору гимназистиком 7-ого класса и намеревавшемуся ехать в небольшую экспедицию в Сибирь для собирания зоологического материала.

Этому свиданию с **Сушкиным**, как и последующему знакомству с этим выдающимся ученым, суждено было сыграть решающую роль и в основании **Дарвиновского Музея**.

Полстолетия тому назад. Приземистый, словно ушедший в землю, двухэтажный архаичный дом по Шереметьевскому переулку, с низкими, маленькими окнами. Широкие полуметровые подоконники, заваленные книгами, коробками с коллекциями и скелетами... Это — Лаборатория профессора **Мензбира**, для которого в ту пору не оказывалось места в университетских зданиях.

На робкий, неуверенный звонок дверь otvorил ветхозаветный старичок — служитель «Феликс», введший молодого посетителя в ближайшую ко входу комнату с тяжелым, низким потолком и почти сплошь заставленную книжными шкафами, ящиками и столами, в свою очередь загруженными экспедиционным материалом: шкурами зверей и птиц, коробками с коллекциями бабочек и прочих насекомых.

— «Здравствуйте!» — раздался дружеский привет и, вылезая из-за ящиков и сундуков, явилась плотная и коренастая фигура будущего академика и величайшего, быть может, орнитолога России, — **Сушкина**.

— «Вы собираетесь в Сибирь? Доброе дело! Вот, садитесь здесь, давайте побеседуем, а еще лучше, я Вам напишу на память, что необходимо Вам иметь с собой, на что Вам обратить внимание..»

С этими словами **Сушкин** примостился у стола и четким мелким почерком, уверенно и быстро стал набрасывать маршрут намеченной поездки, перечень особо интересных видов птиц и список требуемых в дороге материалов.

Словно зачарованный следил за быстрым и уверенным движением руки сидевший рядом юный неопит-зоолог, от волнения едва следивший за потоком слов, советов и напоминаний **Сушкина**...

— «Возьмите непременно полушубок, при ночевке под открытым небом даже летом он необходим в Сибири.. Ночи там холодные.. Более крупных птиц засаливайте, кстати, не забудьте прихватить карболки, а то мухи одолеют.. Для надписывания этикеток (из пергамента, а не бумаги!) лучше пользоваться тушью, не чернилами»....

И тут же, от технических вопросов снаряжения — к указаниям научного порядка:

— «Обратить внимание на фауну солонцов и на состав южно-таежной фауны.. проследить границу фаун таежной и степной.. Особенно желательно добыть: **Grus Leucogeranus.. Geocichla Varia..** сокола — **все!!**» ..отметил **Сушкин** восклицательными знаками эту любимую им группу птиц.

В этих отрывочных и беглых строках чувствовался колоссальный опыт в области практической работы полевого наблюдателя-натуралиста и громадная уверенность в вопросах, собственно-научных. Но, конечно, еще больше подкупала простота и деловитость обращения, лишенные намека на академизм — показную важность, чопорность ученого авгура. Совершенно забывалось, что беседовал Магистр Зоологии, уже снискавший себе громкую известность с мальчиком-подростком, «желторотым» в области науки...

Такова была самая первая и памятная встреча будущих учителя и ученика. На долгие два года приходилось расставаться. **Сушкин** отправлялся в заграничную командировку для работы по музеям Вены, Лейдена и Лондона, а молодому энтузиасту надлежало приступить к поездке по Сибири, а по возвращении, кончать Гимназию для поступления в Университет.

Прошло два года. Из невзрачной квартирнки **Мензбир** перевел свою Лабораторию во вновь отстроенное здание, «Кабинет» Сравнительной Анатомии стал «Институтом», и сам **Мензбир** — уже не рядовой профессор, но «Помощник Ректора» — главы московской профессуры..

Бывший гимназистик — превратился в первокурсника-студента с нетерпением ожидавшего приезда **Сушкина** из заграницы...

Но настал и этот день.. Увы! на место прежнего простого благодушного Петра Петровича приехал внешне-замурованный, солидно-сдержанный, приват-доцент, в размеренных, корректных репликах которого не чувствовалась простота общения бывшего собеседника по Шереметьевскому переулку. Было ясно, что двухлетнее пребывание вдали от Родины было виной этого обидного метаморфоза.

И, однако, в подтверждение основного положения Дарвина касательно примата фактора врожденных свойств над фактором среды — этот наносный и столь чуждый «Сушкинской природе» заграничный глянец очень скоро стерся, уступивши место прежнему открытому, простому отношению **Сушкина** в общении с людьми, и в частности, студенчеством.

Можно уверенно сказать, что именно влиянием **Сушкина** определялась в разбираемую пору атмосфера жизни в Институте **Мензбира**.

При суровом, необщительном характере последнего и возраставшей занятости управлением Университета, именно на долю **Сушкина** пала в разбираемую пору главная забота по обслуживанию студентов, занимавшихся на специальные, «дипломные» сравнительно-анатомические темы в Институте.

И невольно приходилось удивляться, каким образом Петр Петрович умудрялся поспевать в этой руководительской работе, будучи загружен множеством других обязанностей по Институту. Именно на эту пору падает создание Сравнительно-Анатомического Музея и Петру Петровичу нередко приходилось самому монтировать более редкие объекты. Для студентов старших курсов **Сушкин** вел особый специальный курс Орнитологии, для первого семестра — курс практических занятий. Оставалось тайной, где, когда Петр Петрович находил досуг и силы для своих работ и, в частности, фундаментальной диссертации, написанной на степень «Доктора».

Как в этой капитальной монографии (переведенной на немецкий язык пишущим эти строки в бытность молодым студентом..), так и в более ранней «магистерской» диссертации Петр Петрович дал классические образцы сравнительно-анатомических работ, пронизанных идеей эволюционной систематики. И пробегаая обе книги, превосходно иллюстрированные их автором, невольно поражаешься и скрупулезности деталей описаний и самой манере — цементировать их в обобщения все более высокого порядка, с широчайшими экскурсами в вопросы общей биологии.

Обе работы («О развитии черепа Тиннункулус» и «О Классификации Дневных Хищных Птиц») остались до сих пор на положении стандартных образцов, непревзойденных по удачному сочетанию тонкой наблюдательности и умения синтезировать минуциозные детали в широчайшие научные итоги.

До известной степени эти работы **Сушкина** сыграли даже отрицательную роль (— как и фундаментальные тома Фюрбрингера —) не только тем, что сделались невольно прототипами и «штампами» аналогичных по тематике работ, но и замедлив разработку родственных проблем другими авторами из-за мнимой исчерпанности их решения трудами **Сушкина**. Как бы то ни было, но по изданию двух названных трудов в ученом обличье и сочинениях **Сушкина** фаунист-зоогеограф вытеснил надолго систематика-морфолога.

Здесь не место говорить о **Сушкине**, как о фаунисте и зоогеографе, создавшем ряд непревзойденных образцов исследований в этой области. И тем уместнее коснуться **Сушкина**, как полевого наблюдателя-натуралиста и с тем большим основанием, что пишущему эти строки выпало на долю быть одним из спутников его поездки на Саяны (1902).

Нелегко представить спутника в поездке, более простого, невзыскательного и умелого, чем **Сушкин**. Именно в условиях поездок длительных и при общении с людьми, весьма различными по их общественному положению, от проводников-сагайцев и до представителей тогдашней власти — **Сушкин** обладал большим умением налаживать контакт с любым из них.

Припоминается, как по приезде в Красноярск, готовясь, как начальник экспедиции, для получения «Открытых Предписаний» обратиться к губернатору, Петр Петрович с нескрываемой иронией вытаскивал из недр багажа казенную фуражку с докторской кокардой, чтобы после аудиенции опять напаялить свой истасканный походный головной убор.

И также памятно, как по приезде в Минусинск, Петр Петрович целыми часами занимал, точнее, изводил внимание сыщика, подсланного с целью выведать доподлинные цели экспедиции.. Как, еле сдерживая смех, Петр Петрович поучал своего «гостя», демонстрируя накалывание насекомых для коллекции: — «Вот, видите, беру букашку и сажаю ее на булавочку!»

И вообще, большое чувство юмора не покидало **Сушкина** в самые нудные и хлопотливые моменты путешествия. Неутомимый на ходу, в седле, при лазании в горах, искусный наблюдатель, замечательный стрелок, фотограф, препаратор, **Сушкин** сочетал эти практические знания и навыки с блестящими способностями кабинетного ученого: громадной эрудицией, феноменальной памятью, усидчивостью, ясностью суждения и литературным слогом. А в итоге — замечательная цельность, самобытность всех печатных выступлений **Сушкина**, не только в отношении методов научной обработки, выводов, но и необычайной свежести фактического материала.

Но не менее новаторской явилась роль Петра Петровича как деятеля Высшей Школы, в частности организатора Высшего Женского Образования и — косвенно — в истории **Дарвиновского Музея**.

Привлеченный с первых лет возникновения (точнее: возрождения) Московских Высших Женских Курсов к делу устройства Зоологической Лаборатории Курсов **Сушкин**, во внимание ко все возрастающему приходу слушательниц, вынужден был увеличить штаты молодых помощников. Таким путем, по инициативе **Сушкина** и при поддержке **Н.К. Кольцова** состоялось в 1906 году приглашение пишущего эти строки в качестве помощника преподавателя Московских Высших Женских Курсов.

Уже занимавший о ту пору должность ассистента в Университете, автор, незадолго перед тем оставленный при нем для подготовки к профессорскому званию, пытался совместить в первые годы обе должности, в Университете и на Женских Курсах, вопреки тому, что на такое совмещение неодобрительно смотрело университетское начальство.

Это неустойчивое положение усиливалось тем, что годом раньше, после возвращения из заграницы, автор приступил к организации Музея Общей Биологии, для иллюстрации основ учения Эволюции и Дарвинизма, и поскольку получаемые из заграницы транспорты коллекций приходилось адресовывать на Университет (в целях беспроцентного их получения), последний мог рассчитывать, что названный Музей будет позднее приурочен именно к нему.

А между тем, в описываемую пору, после 1905 года, несмотря на некоторые внешние уступки обществу, (как в частности и допущение женщин в университеты), жизнь в последних протекала более рутинно и бюрократически, чем на Московских Высших Женских Курсах, — этом «Женском Университете» того времени. Один тот факт, что младшие преподаватели на Женских Курсах обладали правом посещения факультетских совещаний, как и ряд других идейных льгот, делали то, что самое преподавание на Курсах протекало в атмосфере большей демократизации, академической свободы.

Перед основателем Музея возникала, таким образом, дилемма: либо закрепить Музей за Университетом, отказавшись от работ на Курсах, либо сохранить эту последнюю ценой ухода из Университета и отказа от обычной, установленной академической карьеры.

Внешний и, как принято обычно говорить, «случайный» повод вынудил решиться на второй исход, и двери Университета на 12 лет захлопнулись для пишущего эти строки.

Это вынужденное оставление Университета и сосредоточение всей работы автора на Курсах было поворотным пунктом в жизни Дарвиновского Музея, подлинно решающим на все последующее время.

При поддержке **Сушкина** и **Н. Кольцова** (возглавлявших руководство всем преподаванием Зоологии на Курсах) автору было доверено не только чтение лекций по Теории Эволюции и Дарвинизма, но и обязательного курса Анатомии Человека для естественниц в Анатомическом Театре Курсов, незадолго перед тем отстроенном.

Во всех этих порученных мне курсах выражалось не одно только доверие факультета в отношении молодого лектора, но и желание морально компенсировать мой жертвенный уход из Университета.

И, однако, всем этим успехам, как и Дарвиновскому Музею угрожало полное крушение несколько лет спустя, когда перед дирекцией Московских Высших Женских Курсов стал вопрос об учреждении особой кафедры Теории Эволюции и Дарвинизма, вместо сходного по существу, но лишь «завуалированного» по названию курса «Общей Биологии», читавшегося мною на коллекциях Музея.

Был объявлен конкурс. На него откликнулось лишь два лица, два «доктора наук», профессора, с большими, общепризнанными именами.

Создавалось не совсем обычное и тягостное положение: кому доверить вновь основанную кафедру? Автоматически ли передать лицу, читавшему дотолде сходный курс, лишь под другим названием, или пригласить для новой кафедры дипломированного дарвиниста, но ценой утраты Дарвиновского Музея.

Там — молодой преподаватель, без ученой степени, организатор нового Музея и энтузиастичный лектор, пользовавшийся большим успехом среди слушательниц Курсов, и к тому же доказавший свою преданность им жертвенным уходом из Университета.

Здесь — седовласые, почтенные ученые и обладатели дипломов, чуждые дотоле Курсам и к тому же вынужденные читать перед пустым столом.

Решать эту дилемму приходилось всего прежде **Сушкину с Кольцовым**, возглавлявшим о ту пору Зоологию на Курсах.

Было ясно, что при передаче новой кафедры кому либо из двух почтенных седовласых претендентов, пишущему эти строки оставалось лишь покинуть Курсы, захватив с собой Музей, который в обстановке частного владения на частной территории не мог, конечно, развиваться.

В этой трудной и критической для **Дарвиновского Музея** ситуации Петр Петрович стал решительно на сторону создателя Музея и содействовал тому, что оба седовласых кандидата были деликатным образом «на время», а затем и совершенно отодвинуты. Новая кафедра была оставлена за основателем Музея а тем самым обеспечена была и его будущность, (увы! ценою приобретения двух недоброжелателей, влиянию которых суждено было сказаться много позже).

Это выступление в защиту **Дарвиновского Музея** было последним актом деятельности Петра Петровича на Высших Женских Курсах, возымевшим длительное и конкретное значение до наших дней.

Вскоре затем Петр Петрович, получивший профессию в Харькове, оставил навсегда Москву, чтобы гораздо позже, ставши академиком, переселиться в Ленинград.

Последующие годы, посещения **Сушкиным** конгрессов Западной Европы и Америки, как и позднейшие его работы, в частности по Палеонтологии, выходят за пределы содержания этой статьи, имеющей своей конечной целью осветить роль **Сушкина** в истории создания **Дарвиновского Музея**.

И суммируя все сказанное, можно утверждать, что среди многих и разнообразных авторов, приведших к основанию этого Музея, два решающих момента связаны с известнейшим за рубежом ученым-орнитологом России — **Сушкиным**: факт привлечения автора этой статьи к работе на Московских Высших Женских Курсах и последующий акт защиты **Дарвиновского Музея** от произвольных посягательств двух крупнейших представителей науки.

Мы кончаем. За истекшие полвека наш Музей сумел занять одно из первых мест среди музеев всей Москвы, и если сотни тысяч посетителей Музея оставляют ныне его стены с чувством неподдельной благодарности, и если в будущем миллионы лиц будут проникнуты еще гораздо более глубоким чувством, покидая его стены, то частица этой их признательности пусть незримо обратится к памяти крупнейшего ученого и чуткого, отзывчивого человека, бывшего одним из самых ранних покровителей Музея и его защитником.

И если специальные научные работы **Сушкина** надолго сохранят свое значение, как классические образцы методики фаунистики и Систематики, то для широких масс пусть сохранится светлое предание, что некогда, перед лицом угрозы **Дарвиновскому Музею** своевременно в лице **Петра Петровича** нашлась авторитетная рука и — что важнее — чуткий ум, понявший, что важнее, чем ученые седины и ученые дипломы — жертвенность идеи и любовь, и пафос молодого творчества.

Основатель (1896) и Директор **Дарвиновского Музея** в **Москве** доктор биологических Наук

профессор А.Ф. *Котс*/

1948.

Памяти профессора Бориса Михайловича Житкова

При той громадной сложности, которую являет нам душевный мир **любого** человека, — всякая попытка очертить его немногими словами может показаться слишком смелой и самонадеянной.

Особо трудной кажется она, когда вопрос идет о человеке самобытной и высокой умственной культуры, безнадежной, — когда делают ее на основании отдельных встреч или воспоминаний, давних и отрывочных.

И если все же я пытаюсь предпринять попытку именно такого рода и коснуться лишь немногими штрихами облика **Бориса Михайловича Житкова**, то лишь потому, что в этом начинании у меня окажутся два верных, преданных помощника: Живая непосредственность воспоминаний юности и отстоявшаяся благодарность старого ученика.

Три свойства, три черты Бориса Михайловича поразили меня с первой встречи: ранние седины, скромная самоуверенность и некая светящаяся изнутри спокойная и неизменная приветливость.

Как далеко назад не восходил бы я в своих воспоминаниях, — без малого полвека — эти свойства внешнего, физического облика, ума и сердца выступают ярко и неизгладимо.

Эти ранние седины мы, студенты-первокурсники, воспринимали бессознательно как «символ мудрости», отображение большого знания и жизненного опыта.. наивно-трогательно-простоудушно и, однако, — в данном случае оправданно и справедливо!

Это преждевременное поседение и «умудренность опытом» как то сливались в нашем представлении и побуждали выделять Бориса Михайловича на общем фоне прочих молодых доцентов.

Помнится, как в отношении последних мы нередко интересовались где и у кого они помощниками-ассистентами.. Но в отношении Бориса Михайловича все эти вопросы как то отпадали: самые его седины словно узаконивали наше представление о нем, как о «хозяине», о «старожиле», как исконном «обитателе Зоомузея».

Но едва ли нужно говорить, что и седины, и исконное житковское пенсне не долго удержали бы за нашим молодым преподавателем его престижа, если бы он сам не охранял его своим авторитетом.

Хорошо известно, что авторитет — авторитету рознь. Есть авторитет «с чужого голоса» и есть авторитет личного опыта и подлинного знания.

В ту пору, о которой я упоминаю, на пороге этого столетия, еще не появлялись главные научные труды **Житкова**, да и появившись они, мы, первокурсники, конечно, не могли бы правильно судить о них.

Но вот, что замечательно! Не зная ничего о самобытности научных устремлений и работ **Житкова**, мы, студенты, чувствовали эту самобытность и самостоятельность его, как нашего руководителя.

Но эта «автономия» в науке мыслима лишь на основе собственного опыта и подлинного знания, а в Биологии это последнее дается только при условии не «книжного» но аутопсихического изучения самой Природы.

Где, когда, с какого времени любовь к природе и ее познанию заронила в будущего автора «Симбирских Птиц» и будущего исследователя Заполярья — я не знаю. Но одно бесспорно, что в лице **Житкова** мы имели подлинного мастера и знатока науки.

Это мастерство владения предметом чувствовалось в каждом слове, в каждой реплике Бориса Михайловича, придавало значимость и вес его суждениям и ту спокойную уверенность письма и речи, о которой говорилось выше.

Мне всегда казалось, что при обращении к Борису Михайловичу с тем или иным вопросом, связанным хотя бы отдаленно с областью его научных интересов, именно **Житкову** менее, чем кому либо из всех его коллег- ученых, приходилось обращаться к «книжным» справкам. Каждый раз, при обращениях такого рода, он — как памятен нам этот жест! — касаясь своего пенсне и как бы вглядываясь вдаль, как будто видел мысленно перед собой не книги, не рисунки, не чужие мысли и слова, но сцены, факты, образы, картины, лично наблюдавшие им когда то под открытым небом.

Это далеко не значит, что Борис Михайлович чуждался книжной эрудиции. Само академическое положение **Житкова**, как доцента, а затем профессора и автора трудов по разным отраслям науки ставило его в необходимость быть во всеоружии литературы.

И, однако, более, чем кто либо мог бы Борис Михайлович словами Гексли, величайшего апологета **Дарвина** сказать, что в Биологии «Начитанность» и «Знание» — не одно и то же и что действительно и плодотворно

творно только знание «из первых рук», полученное в результате опыта и вещного знакомства с изучаемым предметом.

Но входить в разбор теоретических воззрений и высказываний Бориса Михайловича здесь тем менее уместно, что не в них таилась главная практическая ценность полувекковой его работы.

Таковы причины, побуждающие нас перевести внимание на более практическую сферу деятельности покойного.

Вот уже четверть века, как приходится мне в интересах **Дарвиновского Музея** и моих работ возвращаться в области **пушной промышленности**, занимающей одно из самых первых мест в экспорте нашего народного хозяйства.

Четверть века мне приходится встречаться с самыми различными работниками мехового и пушного дела: заготовки, сортировки и экспорта всей нашей отечественной пушнины.

И вращаясь двадцать с лишним лет среди рабочих-сортировщиков и техноруков в области пушнины, я имел возможность убедиться в том, как популярно среди них имя «профессора Житкова».

Там, в этой кипучей повседневной практике пушного промысла или хозяйства ничего не знают об «Ароморфозах» и «Филэмбриогенезах», но тем более — о «Житковской» Школе молодых талантливых и энергичных практиках-зоологах, специалистах по пушному делу.

Можно с полной уверенностью утверждать, что если в области практической **Энтомологии** школа покойного Кулагина успешно конкурировала с петербургской школой Холодковского, то в сфере Зоологии пушных животных школа, созданная **Б.М. Житковым**, не имела конкурентов.

И ища причины этой плодотворной деятельности Житкова, как создателя своей особой «школы» практиков-зоологов, приходится невольно перейти от свойств **ученого** к достоинствам **преподавателя и человека**.

Сорок с лишним лет тому назад манеры обращения профессоров к студентам были самые разнообразные: от суховатого, корректно-сдержанного «тайных» и иных «советников» и до слащавого заискивания многих видных, а на деле мнимых «либералов».

Вряд ли нужно говорить, что поведение Бориса Михайловича было чуждо этим крайностям.

Держал себя Борис Михайлович при общении с нами неизменно просто, но без тени той «искательности», от которой не свободно было обращение даже некоторых «кумиров» из тогдашней профессуры.

Поражало всего прежде редкое соединение громадного авторитета с чутким, задушевым отношением к нам — желторотым неопитам первокурсникам-студентам...

Всем нам памятен особый говор, стиль, особая манера говорить, которые присущи были одному Житкову.

В полное отличие от некоторых «провинциальных знаменитостей» и их манеры внешнею значительностью интонации и жестов придавать значение банальным или мнимым истинам, — манера дикции Житкова представляла много самобытного.

Не опасаясь показаться тривиальным, я готов сказать, что говорил **Житков** всегда, будь то на лекции, или во время дружеской беседы, как то исключительно «тепло» и «вкусно», с подкупающей интимной простотой и убежденностью, согретой подлинной любовью к своему предмету и с большим вниманием к собеседнику и аудитории.

И вот, пытаясь оживить в воспоминаниях эти черты Бориса Михайловича, как человека и учителя, мысль, возвращаясь к прошлому, невольно останавливается на ряде сценок, малозначных с виду, но глубоко показательных.

Старые стены прежнего **Зоомузея**, по ту сторону Б. Никитской, от которых ныне не осталось видимых следов.

Старое здание Музея. Темные, высокие и затхлые и все же для людей моего возраста овеянные той романтикой, которая дается впечатлениями юности и уважением к историческому прошлому: то были стены, видевшие некогда **Пржевальского** и **Николая Северцева**, **Карла Францевича Рулье** и **Усова**, — учителей наших учителей...

Заставленное до отказа деревянными тяжелыми шкафами, с полутемной аудиторией и крохотными «клетками» на хорах для специалистов, помещение Музея оставляло для практических занятий первокурсников-студентов только узкую площадку перед окнами между шкафами.

Здесь, на этой крохотной площадке, в обрамлении звериных чучел и велись занятия молодых преподавателей-зоологов: Богоявленского, Елпатьевского, Кожевникова, Щелкановцева и Житкова.

Помню первое занятие у Бориса Михайловича: «Строение Птиц».

Школьная черная доска и мольберт. Скромные рабочие столы и дюжина студентов-первокурсников, зоологов.

И тут же сам Борис Михайлович, — высокий, моложавый, но уже седой, уже в пенсне.

Вступительная лекция по анатомии, строению скелета.

Помню, как на этой лекции меня всего сильнее поразила самая манера речи нашего преподавателя: ни тени аффектации или академизма в смысле докторального, сухого поучения.

Просто, сжато и как то особенно интимно-задушевно, словно говорил Житков не о костях и мышцах, но о чем то очень ему близком, точно говорил он не студентам-желторотым, но своим знакомым, молодым друзьям, уже объединенным с ним той же симпатией, той же любовью к птицам, их костям, их мускулам и перьям...

Я не знаю, в какой степени этот прием: приписывания аудитории заранее особенной симпатии к предмету, излагаемому с кафедры, являлся у Бориса Михайловича обдуманной методикой. Вернее что эта манера говорить была основана на прирожденном чувстве такта, на культуре сердца.

Мы подходим к очень деликатному вопросу:

В какой мере та или иная дисциплина отражается на персональных качествах ее адептов?

Здесь легко предвидеть возражение. Нам скажут: Безрассудно связывать научные вопросы данного учебного с его характером, как человека.

И, однако, некую таинственную связь мы все же чувствуем, когда от качества ученого мы переходим к персональным свойствам человека.

Расскажи нам кто-нибудь о негуманных действиях великого Геолога («Такой знаток камней и этакий нечуткий человек!») и ссылка на профессию таких ученых не повысит нашей скорби, нашего негодования.

Но если бы нам кто-нибудь сказал подобное о **Рескине**, или **Аксакове** — это известие нас поразило бы как некая психическая травма.

Но едва ли нужно говорить, что в отношении Бориса Михайловича между дарованием ученого-натуралиста и отзывчивостью человека не было разлада.

Эту чуткость человека и учителя да будет мне позволено проиллюстрировать двумя примерами того, как деликатно скорректировал Борис Михайлович два юношеских моих «заскока» в бытность мою первокурсником-студентом, 60 лет тому назад.

На предложение **Житкова** — подготовить к следующему занятию конспект прочитанной им лекции и повторить набросанные им меловые схемы на доске, я тут же вызвался на это выступление, имея тайное намерение «шикнуть» своею эрудицией.

Еще на гимназической скамье мною прочитана была английская книженка **Хидлэя** («Строение и Жизнь Птиц»), довольно скучная. И думая блеснуть своей ученостью, я вздумал скорректировать Бориса Михайловича, дав не его рисунок, а рисунок из английской книги.

Какою же было изумление мое, когда стоявший рядом около меня Борис Михайлович, интимно-дружески положив мне руку на плечо, полюбив меня, другой рукой столь же уверенно и деликатно стер мою поправку, как неверную, хотя и позаимствованную из английской книги.

Помню, как это «неодобрение» одной рукой и дружеское смягчение его другой сделали то, что самолюбие мое несколько не было задето, что так неизбежно было бы при менее чутком обращении.

Или — другой пример такой же деликатности, умения щадить чужое самолюбие.

Заметив, что в шкафах Музея зайцы-Беляки помечены, как «Лепус Тимидус», я, целиком воспитанный на старой Брэмовской терминологии, сумбурной, хаотической, решил «исправить» эту мнимую ошибку в наименовании.

— «Борис Михайлович!» обратился я студентом-первокурсником к Житкову, — «Ведь у Вас в шкафах зайцы неверно обозначены как „Тимидус“, ведь следует назвать: „Вариабилис“!»

И снова, вместо столь естественного назидания по типу хорошо известных поговорок (ссылки на «Сверчка, не знающего своего шестка»..) Борис Михайлович поступил совсем иначе.

Начал он с того, что согласился с тем, что первое название («вариабилис»), конечно, более вразумительно и более логично, ибо какой же заяц не труслив, не «тимидус», но что последнее название укоренилось в силу принятых номенклатурных правил.

А в итоге отошел я от Житкова и от зайца ни в малейшей степени не ущемленный в своем юном самолюбии.

Но вот проходит сорок с лишним лет. За этот долгий срок мне далеко не часто приходилось видеться с Борисом Михайловичем. Но это не мешало ему чутко откликаться всякий раз, когда мне приходилось обращаться к нему с той, или иною просьбой, будь то за советом, или справкой, будь то за предоставлением предметов его личных сборов для коллекций моего Музея: всюду та же неизменная отзывчивость и помощь словом, или делом.

Наконец, моя последняя с ним встреча на его квартире.

Было это еще до Войны.

Желая лично поблагодарить его за теплое приветствие ко Дню тридцатипятилетия моего Музея, я зашел к Борису Михайловичу на его бывшую квартиру по проезду бывшего Зубовского Бульвара.

По скрипучим деревянным лестницам какой то архаической постройки с бесконечными комнатами, чуланчиками, кухнями и коридорами, я только после многократных указаний обитателей этой безрадостной казармы, очутился перед дверью в обиталище **Житкова**: нечто вроде скромного преддверия к профессорской квартире, обрамленное гирляндой книжных полок.

Это сочетание скученности обывателей внизу и изобилие продуктов умственной культуры здесь, в этой профессорской мансарде, было знаменательно.

Перефразируя слова нашего **Чехова**, мне думалось:

«Когда я вижу книги, то какое мне дело до того, какие склоки вероятно распирают стены этого жилого комбината. Здесь я вижу царство книг, я вижу только изумительные дела людей.»

Но вот я в комнате Бориса Михайловича: Островок культуры в обывательской оправе, словно мраморная голова Минервы, водруженная на «свайную постройку».

Вот и сам Борис Михайлович. Все тот же, что и десять, как и двадцать лет тому назад: лишь серебро седины уступило снегу, да морщин побольше, да приветливости еще больше, но все тот же мягкий, вкусный говор и тот светящийся улыбкой взгляд.

С тех пор мы близко не видались, если не считать несколько беглых университетских встреч, а разразившаяся вслед за тем война еще усилила пространственную разобщенность жителей Москвы и в частности ее ученых.

Глухо донеслось известие об уличной аварии Бориса Михайловича, и еще глуше о его болезни. И однако, ни об этом длительном недомогании, ни о смерти моего учителя я не был своевременно оповещен.

И заключая этот бледный очерк моих скромных, рыхло собранных воспоминаний о **Житкове**, я позволю себе увязать их некоей единой красной нитью.

Помнится, как полстолетия тому назад, я мальчиком-подростком, грезя о профессорах и Университете, спрашивал о них повторно и настойчиво моего первого учителя, известного тогда натуралиста **Лоренца**, талантливого орнитолога и препаратора-художника, близко стоявшего к Зоомузею Университета.

Умный, наблюдательный и даровитый, человек большой культуры Федор Карлович **Лоренц**, знавший близко Николая **Северцова** и **Пржевальского**, с готовностью делился своим знанием о «закулисной» жизни Университета и Музея.

Здесь впервые услышал я о профессорах-зоологах, о **Мензбуре**, о **Зографе**, о **Тихомирове**, об «Усовцах» и о «Богдановцах» — этих — увьи! — зоологических «Монтекки» и «Коппулетти», и о молодых зоологах обеих школ: — о **Сушкине**, **Корчагине** и **Хомякове**..

Из таких частных разговоров с **Лоренцем** я мог узнать, кто у кого был ассистентом, тот — у Мензбура, а тот — у Тихомирова.

— «Есть» — говорил мне **Лоренц** — «при Зоомузее, при Отделе Млекопитающих и Птиц еще один зоолог по фамилии **Житков**, тот держится самостоятельно, тот — сам по себе»...

Да, тот держался независимо...

Самостоятельным был до конца Борис Михайлович и в науке, и в преподавании, и в жизни, при общении со всеми его знавшими.

Он шел своей дорогой, как ученый и как университетский деятель, не идя в поводу ни у кого и не прислушиваясь ни к кому, и не прислуживаясь никому, но доверяясь только зоркости своего глаза, остроте ума.

В этом залог его успеха, как ученого и как преподавателя.

Но в этом же источник и не малых огорчений, выпавших на его долю.

Эти огорчения покойный навсегда унес с собой.

А достижения, а успехи?

Они вылились в миллионы долларов и стерлингов Советского пушного экспорта; — они сказались в школе даровитых молодых ученых, Школе, созданной **Житковым**, и в его чудесных книгах...

Отразились, наконец, эти его успехи в той короткой скромно-величавой реплике, которая невольно просится нам в слово каждый раз, когда мы вспоминаем о **Житкове**, на которой я уверен, сходятся все знавшие его.

На этой реплике, на этой фразе, выкованной в свое время нашим задушевнейшим писателем и провозвестником грядущей светлой жизни, нашим **Чеховым**, — Вы и позвольте мне закончить этот бледный очерк, посвященный старому учителю его стареющим учеником.

Простая и всепримиряющая эта реплика столь же скромна и величавая, как и вся жизнь Бориса Михайловича.

Содержит эта реплика только **четыре** слова, старые, но вечно новые:

«**Какое наслаждение уважать людей!**»

Памяти Николая Михайловича Кулагина

В одной известной повести **Тургенева** с ее, как и обычно, грустным эпилогом, автор повести устами своего героя хочет нас уверить что смешно и неразумно доносить до старости свой юношеский энтузиазм.

Но, конечно, выражаясь так, великий сердцевед-художник был всецело сын своего времени, точнее: грустного безвременья.

И все бездонное отличие нашей эпохи от середины прошлого столетия, как в фокусе, как в призме, отражается в этом одном вопросе и нашем **теперешнем** ответе на него:

«Действительно ли так смешно и неразумно доносить до старости свой юношеский энтузиазм?»

И мне думается, что прекрасным, убедительным опровержением Тургеневского пессимизма может послужить путь жизни и работы, и служения того ученого, которого духовный облик в этот вечер нам с предельной ясностью хотелось бы восстановить перед собою.

Памятуя поздний час, я ограничусь лишь немногими эскизами для подтверждения высказанного положения.

За все время моего сорокалетнего знакомства с Николаем Михайловичем **Кулагиным** были у нас с ним встречи, самые разнообразные по самым разным поводам и в разной обстановке.

Из бесчисленных воспоминаний, связанных с покойным, я позволю себе беглым образом остановиться лишь на **трех**.

Первая встреча. Сорок лет тому назад. Осень 1900 года. Московский Университет. Зоологический Музей. Старое его здание, сумрачное, неприветливое, от которого доселе не осталось ни следа.

Высокие шкафы, забитые коллекциями: тысячи птичьих и звериных чучел, в разных, всего чаще архаичных позах, заполняют полки и глядят на зрителей стеклянными глазами.

Во всем зале — затхлый, спертый воздух от удушливых мышьячных испарений шкур и нафталина. Во всем зале — жуткий полумрак из-за заставленности мебелью и гробовая тишина, лишь изредка перерываемая робким говором студентов или величавым голосом профессора, сопровождаемым брэнчанием брелоков на его бронзово-пуговичном фрачном сюртуке.

И вот на фоне этой архаичной обстановки старого Музея и академической патриархальности особенно контрастно выступает в моей памяти живой, подвижный образ Николая Михайловича **Кулагина**, бывшего нашего руководителя по Курсу Прикладной Энтомологии.

Впервые после замурованных «футлярных» педагогов доброй и недоброй памяти Гимназии и первый раз на фоне синефрачной профессуры, хмурой, недоступной, — мы увидели ученого, простого и открытого, готового по окончании занятий приостаться с нами, чтобы побеседовать на тему лекции, и все это в такой

простой и душевной форме, что невольно забывалось расстояние, отделявшее доцента от неоперенных желторотых первокурсников-студентов.

Самая методика занятий поражала простотой манеры дикции, той живостью, тем увлечением, которые сам Николай Михайлович, вносил в преподавание. И надо было слышать, как любовно и с каким теплом произносились им латинские названия любимых насекомых, чтобы понять то уважение, которое в нас вызывали не одна лишь личность лектора, но и бесчисленные шестиногие его любимцы.

Очень может быть, что то благоговение, с которым я на лекциях **Кулагина** смотрел на заспиртованных кузнечиков и тараканов, было поводом к тому, что Николай Михайлович предложил мне — первокурснику-студенту, специальные занятия по анатомии насекомых, разрешив мне пользоваться его собственным рабочим местом, именно в одной из знаменитых «клеток», огороженных решеткой уголков на хорах помещения Музея, и вручив мне ключ от ее двери.

И, конечно, ни один вельможа или царедворец не гордился так при даровании «камергерского ключа», как возгордился я при получении от Николая Михайловича права пользования его рабочей комнаткой и «клеточным ключом».

Припоминается и то, как приходилось мне за получением материалов выезжать, по приглашению Ник.Мих. в Петровское-Разумовское в его тогдашний Институт.

И ныне, по прошествии почти полвека, ярко возникают в моей памяти эти воскресные былые выезды: и золотая осень, и пискливый крохотный паровичок, и светлые, приветливые стены Института и приветливые встречи с Николаем Михайловичем, так предупредительно меня снабжавшим всем необходимым для моей работы.

И хотя впоследствии мне не пришлось работать специально по Энтомологии, но образ первого мне встретившегося ученого-доцента-демократа врезался неизгладимо в моей памяти.

Но вот проходит **двадцать** лет и образ первого демократичного **профессора**-ученого опять придвинулся на моем жизненном пути.

То было в первые годы после Октябрьской Революции — судные годы, годы испытания верности науке и родной стране для русского ученого и гражданина.

Осень 1909 года. Центр города, Ильинка. Вековые своды здания «Гостинного Двора». Очередное заседание ученого Совета при Коллегии «**Главмеха**». Обсуждается вопрос о мерах по борьбе с вредителями, — «шестиногими», из мира насекомых. Полное бездействие — за недостатком топлива — всех холодильных аппаратов, как и недостаток рабочей силы, вызвало массовое заражение пушнины кожеедами и молью.

Приглашенный в качестве музейца и борца с музейной молью на означенное совещание, я застал там Николая Михайловича, обсуждающего горячо различные приемы или способы обеззараживания пушнины.

Прожитые двадцать лет лишь мало отразились на наружности **Кулагина** и ни в малейшей степени на живости, манере говорить, манере обращения. С такой же простотой, с которой он когда то вел занятия в Музее со студентами, он вел беседу с пушниками и рабочими. Можно уверенно сказать, что лишь немногие ученые-зоологи того же ранга и того же возраста способны были так легко, свободно, без опасности вульгаризации вести научные беседы с малоподготовленными слушателями так, как это удавалось Николаю Михайловичу.

И объяснялось это всего прежде той здоровой, искренней, природной **органической** демократичностью, которая так привлекала нас былых студентов при занятиях с Кулагиным в Московском Университете.

Именно она, эта полнейшая непритязательность, понятность речи, формы обращения, согреваемые чувством подлинной симпатии к предмету, как и к аудитории, делали то, что, как ученый-популяризатор, Николай Михайлович пользовался исключительным успехом.

Этому успеху помогали и другие факторы.

Так, всего прежде, основная специальность Николая Михайловича, как знатока **пчелы** и **Пчеловодства**, — этой в некотором смысле наиболее демократической и популярной отрасли всей Зоологии.

И, во вторых: давнишнее влечение **Кулагина** к научной и серьезной популяризации, и колоссальный опыт его в этом деле. Это давнее его стремление к несению научных знаний в массы выявилось очень рано, на студенческой скамье, и первые печатные работы Николая Михайловича закрепляют это раннее участие **Кулагина**-студента в деле постановки Воскресных чтений для рабочих в **Политехническом Музее**.

И с **Политехническим Музеем** связаны и самые последние мои воспоминания о Николае Михайловиче.

Относятся они все к тем же первым героическим годам после Великой нашей Революции, — годам проверки каждого тогдашнего ученого на преданность его родной науке и родной культуре.

Мерзлые стены каменной громады **Политехнического Музея**. Ледяные стены и горячий энтузиазм его работников, и среди них Заведующего Отделом прикладной Зоологии, все того же Николая Михайловича, в его заботе в корне освежить экспонатуру вверенного ему Отдела, увязать его с новыми требованиями нового общественного строя.

По рекомендации **Кулагина** Совет музея Прикладных Наук тогда же пригласил меня к практическому проведению этих реформ в Отделе Зоологии, по приведению его экспонатуры в соответствие с новыми требованиями охотничьего дела и пушного промысла.

Припоминается, как регулярно посещая меня в Политехническом музее Николай Михайлович, следя за продвижением моих работ, не без труда взбираясь по громадным и антигуманным лестницам «Музея-Левиафана», но всегда приветливый, всегда горящий своим делом, без малейшего следа официальности и формализма.

Видя, как с трудом, медлительно, переводя дыхание, поднимался Ник. Мих. по бесчеловечным лестницам Музея, можно было опасаться, что физические силы старого ученого до времени иссякнут, что начнет сдаваться и его психическая бодрость.

Жизнь не подтвердила этих опасений, почти целое еще **двадцатилетие** дано было еще прожить и творчески- активно проработать Николаю Михайловичу, — работать с той же бодростью, и с тем же энтузиазмом, как и в ранние, былые годы.

И, однако, этой долгой неослабной синхронности работы сердца и ума грозила все же величайшая опасность.

Не считаясь со своим преклонным возрастом старый ученый переоценил свои физические силы и ускорил их начавшееся догорание.

И словно пожалев эту не знавшую покоя жизнь, смерть с налета, неожиданно настигла старого ученого и этим во время уберегла его от самого тяжелого, что может быть для действенной, энтузиастической природы: — долгой и бездеятельной инвалидности.

Он умер, лишь немного не доживши до 80 лет. И все же смерть его воспринимается, как преждевременная: слишком явно диссонировали в нем физическая старость и не знавшая покоя умственная бодрость.

Всею своей долгой жизнью покойный доказал воочию **неверность** мысли о пределах, налагаемых на энтузиазм возрастом, свидетельствами «паспорта»!

Вот почему, мы на вопрос, поставленный в начале нашей речи, — на вопрос: «Действительно ли неразумно и смешно пытаться доносить до старости свой юношеский энтузиазм?» мы, ссылаясь на примеры нестарящихся, «бессрочных» энтузиастов стиля **Николая Михайловича Кулагина**, — уверенно и твердо отвечаем:

«Для природного ученого рабочий энтузиазм угасает только с его смертью!»

Памяти Евгения и Галины Клумовых

Их вывели на Минский госпитальный двор обоих, старого врача и его жену. Толкнули в крытый металлический глухой автобус. Дали газ. Машина двинулась, пыхтя и громыхая с госпитального двора.

И в меру убыстрения ее движения, неслышно и незримо ядовитые струи моторных газов стали проникать в ее стальное чрево, где обнявшись и вперяя взор друг в друга, до последнего лобзания, задыхалась в ядовитых газах обреченная чета.

И в тот последний миг их расставания с жизнью, когда перед глазами умирающих, подобно величавой всеобъемлющей картине, на мгновение разворачивается панорама всей былой их жизни, один образ мне невольно чудится и просится посылить на бумагу.

1899-ый год. Небольшая светлая, огнями залитая зала. Хорошо известная в былые времена «Романовва», в одном студенческом квартале, близ бульвара Пушкина.

Традиционный молодежный вечер с театральной постановкой молодых любителей с благотворительными целями. После спектакля — танцы.

Стоя в стороне от движущихся пар, я обратил внимание на одну из них, мне хорошо знакомую.

Он — молодой студент, в обычной тогда форменной одежде. Худощавый, стройный с черными вьющимися волосами, тонким профилем несколько смуглого лица. Заботливо и бережно ведет он свою даму, взявши ее за руки крест на крест, как то полагалось в модном тогда танце «Па-де-Патинер».

Она — высокая и стройная блондинка, грациозно, чуть склонившаяся к своему водителю, легко скользит по гладкому паркету, доверяясь твердой поступи и крепкому охвату рук своего спутника.

И это их взаимное пожатие руки и этот взгляд его, проникнутый не столько обожанием, сколько почти отеческой заботой о доверившейся ему юной жизни длились долгие десятилетия и замерли только в охвате костенеющих объятий и в предсмертном взгляде и биении двух отравленных сердец.

И под немолчный грохот мчащегося эшафота — этого позорного создания «технического гения», два сердца стали биться все слабее и тише и, наконец, замерли навеки.

Исторические стены здания былой 7-ой Классической Гимназии в Москве, здание, видевшее некогда и Пушкина, и Гоголя, и Герцена, и Грибоедова, чудесное по виду здание, в стенах которого когда-то двигались реальные прообразы бессмертного творения Грибоедова.

Актовый зал и за столом среди собравшихся перед началом школьного года педагогов стройная фигура нового Инспектора Сергея Александровича **Радецкого**, сулившего, — как нам открыто и любезно заявил наш старичок Директор, — быть сугубо строгим, по его, директора, «особой просьбе».

И действительно, во исполнение этой любезной директивы, первое же выступление Радецкого в роли учителя Латыни в 6-ом Класе, ознаменовалось для учащихся целым «тайфуном» единиц и двоек.

Было очевидно, что предшественник Радецкого, известный **А. Адольф**, педагог-лингвист и переводчик римского поэта Ювенала, увлекаясь с кафедры черчением цезаревых лагерей и декламациями из Овидия, преступно пренебрег грамматикой и был виной этого «Тайфуна».

И пришлось подумать о «Самозащите».

Подыскали репетитора, студента, опытного в приобщении к латыни непреуспевавших в этом языке.

Помню первую встречу с этим молодым преподавателем. Высокий, худощавый, стройный и красивый по наружности брюнет, лет 20-ти, медик-студент, он поразил меня не только превосходным знанием латыни, виртуозными приемами ее подачи, но необычайностью педагогического дарования, способностью внушать к себе чувства особенного уважения и это несмотря на то, что был он только четырьмя годами старше нас, его учеников.

Прошло не больше пары месяцев занятий с нашим молодым учителем.

И мы не только выправили наши все незнания латыни, но сумели полюбить ее настолько, что **Вергилий** и **Гораций** стали нашими любимыми поэтами.

Но и по окончании занятий с нашим репетитором — это был **Евгений Клуков** — мы надолго сохранили теплое воспоминание о нем, чему содействовало дружеское отношение его к бывшим его ученикам.

Помню, как зайдя однажды в мою комнатку, заставленную сплошь шкафами, переполненными чучелами птиц — бывшими, скромными предшественниками нынешнего Дарвиновского Музея (а на деле и поныне величайшими его сокровищами, ибо представляющими уникальный образец препарированного искусства бывшего натуралиста-препаратора **Ф. Лоренца**..) учитель мой с горячим одобрением отнесся к моему столь рано проявившемуся влечению музеолога. Помню и то, как поощрительно он улыбнулся, услышав, что мне уже знакомо в разговоре на зоологические темы выражение «Особь», вместо обывательского, обаналенного слово «Индивидуум».

Также невольно вспоминается, как встретившись немного позже с **Клуковым** по возвращении моем из первой юношеской научной поездки, в целях изучения птичьей фауны Юго-Западной Сибири, **Клуков**, знавший через третьих лиц об этой не совсем обычной для ученика VII-го класса начинании, интимно пригласил меня к себе и горячо поздравил с этим первым выступлением в науке и с «открытием» нового вида орла (на деле — только местной расы нашего подорлика).

Помню, как восторгались мы его невестой «Галей», стройной и изящной молодой блондинкой и чудесным рыцарским к ней отношением **Клукова**.

Легко понять, как поразил меня рассказ его племянника, Сергея Константиновича Клукова по поводу трагической судьбы этой мне с юношеских лет знакомой молодой четы.

Прошло без малого полвека с моей встречи с ней, но в грандиозно-жутком мартирологе трех войн, прошедших с того времени, ничто не потрясло меня так угнетающе, как эта жизненная драма, этот жуткий эпилог ее, прервавший жизнь двух людей, оставивших когда-то столько света и тепла на моей жизненной тропе.

И, если что-либо способно на мгновение смягчить мою печаль и скорбь и мое чувство гнева за неслыханные зверства палачей былой «Страны поэтов и мыслителей», то лишь сознание, что своей мученической кончиной мой былой учитель и его жена лишь завершили свой великий подвиг на служении Родине.

Как главный врач Минского госпиталя **Клуков** и его жена имели в своем ведении, после занятия Минска гитлеровцами, не только раненных германцев, но имели мужество выхаживать, и в том же госпитале, тайно от немецкого командования, наших русских раненных. И даже более того: снабжать медикаментами скрывавшихся в минских окрестностях советских партизанов...

В этом безвестном, но великом героизме моего бывшего репетитора-учителя я узнаю черты, столь привлекательные к нему меня, подростка-мальчика: пленительная прямота души и редкая настойчивость и острота ума, сумевшие в дни величайших испытаний нашей Родины спасти не малое число ее сынов, ценой своей жизни, как и жизни его верной, преданной жены и спутницы на славном, трудном и тернистом жизненном пути.

Федор Юльевич Фельман

Когда я на закате своей жизни мысленно пытаюсь оживить былые образы людей, стоявших некогда над колыбелью Дарвиновского Музея — один облик, скромный, но немеркнувший, встает передо мной в безвестной роли «вдохновителя» моей идейной жизни.

Выходец от прибалтийских немцев, но с чудесным русским говором, охотник и любитель книг, а тем самым глубоко культурный, Федор Юльевич являл собой образец интеллигента, мало приспособленного к деловой, «доходной» жизни, не смотря на многогранные свои способности и дарования.

В часы досуга (а последнего было всегда в избытке, ибо Фельман в отношении службы никогда, нигде не уживался, проживая всего чаще «вольным обывателем» в уютном домике, полученном в приданное от жены) Федора Юльевича можно было застать за самыми различными занятиями: то с ружьем, то с

лобзиком, за тщательным выпиливанием безделок, то с паяльной трубкой, то на положении стекольщика, то столяра, то токарем, то переплетчиком и всюду с равным мастерством и увлечением.

И, однако, за талантливым «умельцем» неизменно пребывала главная и основная страсть — любовь к живой природе, подавить которую не в силах было вынужденное проживание в городе, точнее, пригороде, бывшей «Марьиной рощи», сохранявшей, правда, в ту пору многое из деревенской жизни: тишину садов и редких перелесков, нарушаемую иногда пальбой из ружей местных обитателей, охотами их на сорок, таскавших обывательских цыплят.

Одной из этих вороватых птиц, добытых Фельманом, дано было сыграть значительную роль в истории зарождения Дарвиновского Музей.

Помню до сих пор квартирку в самом центре города, скромную комнатку и самого меня — мальчонком лет 12-ти...

Помню волнение, с которыми я ожидал обещанного мне урока по «набивке чучел», и то восхищение, с которым я смотрел на мертвую сороку, добытую Фельманом и принесенную мне для показа техники препаровального искусства.

Помню нетерпение, с которым я следил за тем, как под руками Федора Юльевича бесформенный комочек перьев превращался вновь в подобие живого существа.

Хотя приемы препаровки были крайне примитивные (на «твердой тушке» с применением гипса, отчего отяжелевшее сорочье чучело болталось «Ванькой- Встанькой») — упоение, с которым я следил за продвижением работы до сих мне памятно, а отливающие радугой блестяще-черные сорочьи перья до сих пор полны в моих глазах неизъяснимого очарования.

«Проведенциальность» в моей жизни роли этой прозаичной птицы, возрожденной на моих глазах, нашла свое отображение в непротивительных стихах, написанных полвеком позже любящей рукой.

Стихи

Посвящается А.Ф. Котс, к 50-ти летию его музейной деятельности.

Жар-птицей сказочно прекрасной
Увлекшей ум в мир чудных грез,
Зажегшей мысль идеей страстной
Сорочьей шкурке стать пришлось.

Атласных перышек блистанье
И снеговая белизна,
И стройной формы очертанье
Гармонии была полна.

Но глазки черные прикрыты
У птички серой пеленой,
И было ясно, что убитой
Она лежала пред тобой.

И сердце юное смутилось,
И голос внутренний сказал:
«Хочу, чтоб ты преобразилась,
Чтоб облик прежний твой восстал.»

«Пусть смерти тлен и разрушение
Не унесут твою красу,
Из поколения в поколение
Ее я свято пронесу»

И с этих пор одной мечтою,
Одною целью ты живешь,
В **Музее**, созданном тобою,
С любовью жизнь воссоздаешь,

Весь мир зверей своеобразный
И птиц чудесных дивный сонм,
Столь фантастический, прекрасный,
Он к жизни снова приобщен.

И благодарные потомки
Да не забудут никогда
Того, чьи дни были так горьки,
Но думал кто о них всегда.

Кто делу жизнь свою и силы
Так страстно, полно отдавал,
От юных лет и до могилы
Посильно долг свой выполнял.

—Надежда, 11 Октября 1946 года.

Ознакомлением с препаровальной техникой не ограничилось значение для меня знакомство с Фельманом.

При полном и зияющем отсутствии Естествознания (точнее: Биологии) в программах и учебниках классических гимназий того времени и неизвестности подобию теперешних «Юннатских» начинаний, «Школьных уголков Природы» и Кружков для начинающих зоологов, эти последние могли рассчитывать на поощрение со стороны лишь от случайно встреченных любителей природы стиля Фельмана. К тому же не имея сам детей этот последний свои всецело неизжитые отцовские влечения невольно отдавал моей ребячьей страсти, моим юным увлечениям.

Как бы то ни было, но с появлением «Сороки» потускнели и померкли мои прежние предметы вождения: жуки, кузнечики и бабочки, особенно последние: в своих многоцветистых трупиках и эфемерной красочной «пыльце» они не оставляли должного простора для самостоятельного творчества. В итоге — потянулись долгие и радостные годы, когда все свободное от школы время посвящалось препарированию птиц, набивке чучел, преимущественно за счет пичужек, в мертвом виде покупавшихся на птичьем рынке или на базарах, торговавших дичью, в частности на «знаменитом» некогда «Охотном Ряде».

В продолжении ближайших 3—4 лет я с упоением посещал рабочих-кустарей, ютившихся по грязным и сырым подвалам, добывавших скромные гроши продажей по базарам чучел воробьев и Галок. Более того. В течение ряда лет я приглашал к себе, по воскресеньям одного из этих «чучелятников» чтобы за скромную закуску выведать его несложное искусство.

И, конечно, ни один шеф-повар или ресторатор не готовился с таким старанием к приему знатных посетителей для званного обеда, как готовился я некогда 14-летним мальчиком к приходу и приему скромного рабочего из числа служащих одной тогдашней препараторской московской фирмы.

И оглядываясь на те годы фанатического увлечения моего препаровальной техникой, усвоенной из руки простых рабочих-чучелятников, я лишь много позже оценил некую другую воспитательную пользу этого общения: именно привитие мне с юношеских лет здорового демократизма при общении с простым рабочим людом.

Это чувство близости к рабочему, простому люду помогло мне много позже находить понятный и простой язык на лекциях, читаемых в народной аудитории, и при общении с рабочими подшефных фабрик и заводов, при обслуживании раненых защитников нашей Великой Родины в дни нашей великой обороны.

Порожденный долголетним дружеским общением с препараторами-мужичками мой демократизм, только им обязанный восходит, таким образом, все к той же «исторической» сороке, занимающей по праву, вместе с Ф. Ю. Фельманом, ее добывшим — первенствующее место у истоков зарождения Дарвиновского Музея.

По прошествии немногих лет я преуспел настолько в моем скромном мастерстве, что посланный на Выставку в зоологическом Саду подбор пары десятков птичьих чучел моей собственной работы удостоен был Малой Серебряной Медалью Общества Акклиматизации Животных и Растений.

Помню то внимание, с которым Федор Юльевич отнесся к оформлению этой скромной выставки, давшей ему возможность применить свое умение декоратора.

Припоминаю также скромные, непритязательные экспонаты, приносимые для моего тогдашнего «Музея» тем же Фельманом: то черепочки небольших зверьков, отлично выбеленных, то крошечную черепашку, высушенную на медленном огне...

Но еще более мне памятливы совместные экскурсии в ближайшие окрестности Москвы, Сокольники, и прилегавшие к нему Петровский Парк, Старое Зыково: подсиживание Чекканчиков по луговым кустам, имея на руках миниатюрное ружье системы «Монте-Кристо», и отыскивание птичьих гнезд, — увы! — не ограничиваясь взятием лишь одного яйца, как практиковалось некогда подростком-Дарвиным.

И от того же Фельмана я услышал впервые имя человека, возымевшего решающую роль в истории создания Дарвиновского Музея — имя знаменитого в ту пору препаратора-натуралиста Федора Карловича Лоренца, — владельца замечательной препаровальной мастерской, лучшей в России, чтобы не сказать Европы по изготовлению птичьих и звериных чучел, а на деле — подлинных художественных изделий на естественной их подоснове.

Именно Лоренцу когда то отдал Фельман для набивки голову большого лося, им убитого когда то на Урале, но за неимением денег за работу, так и не взятую заказчиком.

Едва ли нужно говорить, что услышав от Фельмана о замечательных по мастерству изделиях Лоренца, я крепко порешил во что бы то ни стало познакомиться с прославленным художником-натуралистом.

Вышеупомянутая Выставка в Зоологическом Саду ускорила возможность этой встречи.

Дело в том, что присужденная мне премия в виде серебряной медали была выдана мне лишь дипломом. Получение самой медали требовала внесения 15-ти рублей — суммы, громадной для бюджета мальчика-подростка.

Моя матушка, весьма гордившаяся успехами моими и по линии «музейской» разделяла полностью мое желание иметь и самую медаль, а потому — хотя не без труда — снабдила меня этой суммой.

Заручившись ею, я отправился к секретарю означенного Общества для приобретения медали.

— «От учащегося не полагается брать деньги, уступаем Вам Медаль бесплатно!», заявил любезно секретарь (он же бывший директор Зоосада) И.А. Антушевич, поощрявший и позднее увлечение мое музейным делом.

Назначавшиеся для оплаты присужденной мне медали деньги оказались, таким образом, в моем кармане и имея их, я смог на положении «покупателя» увереннее постучаться к моему заглазно обретенному кумиру.

Знай я о ту пору о высоком уровне культуры Лоренца я много раньше смог бы посетить его. Но мне никто не говорил, что выдающийся натуралист-художник автор замечательных трудов, друг Пржевальского и московской профессуры Федор Карлович Лоренц был к тому же обаятельно-любезным в обращении человеком.

Но об этом подлинном реальном вдохновителе и вещном сосоздателе теперешнего Дарвиновского Музея — да поведаст ближайший мемориальный очерк.

Варвара Николаевна Бобринская

Осень 1900 года. Небольшой уютный особняк известной о ту пору московской общественной деятельницы, Варвары Николаевны **Бобринской**.

Лакей при входе в форменной одежде, между тем, как обстановка комнат — более, чем скромная.

Первокурсником-студентом я прошу доложить о моем приходе по личному приглашению Варвары Николаевны.

Встреченный ею — простой и обаятельной в обращении, поднимаюсь вместе с ней в еще более скромные «антресоли», занимаемые ее сыновьями.

Двое мальчиков: младший Александр лет восьми, впоследствии геройски павший офицером-пехотинцем в первом же бою империалистической войны. Старший, Николай — лет десяти, в будущем — один из виднейших зоологов нашей Родины.

— «Вот, Коля, Александр Федорович, такой же, как ты, любитель птиц. Ты будешь с ним по воскресеньям заниматься. Он тебе покажет, как составлять коллекции и как научно пользоваться ими»....

«Мне хотелось бы» — добавила Варвара Николаевна, обращаясь ко мне, «чтобы Коля впоследствии стал профессором!»

Не часто пожелания матери так совершенно исполняются в реальной жизни!

И особенно, когда, как в данном случае, имелись внешние условия, таившие угрозы для их выполнения.

И в самом деле. Если без громадных средств, имевшихся в распоряжении авторов, подобных **Гульду**, **Дрессеру** и **Эллиоту** невообразимы их чудесные научные фолианты; если по признанию **Дарвина** без материальной обеспеченности он не смог бы выполнить задачи своей жизни, то естественно спросить: а сколько состоятельных людей погибло для идейной жизни из-за материальной обеспеченности, открывавшей легкий доступ к жизни, менее тернистой, чем призвание и путь ученого, чем служение науке, не сулящей материальных выгод?

Правда, что на фоне жизни состоятельной своей родни весь жизненный уклад дома Варвары Николаевны — а дом ее всецело находился под ее «эгидой» (муж ее А. Бобринский, высоко образованный, учившийся в университете Кембриджа и обаятельный в общении человек, жил больше интересами к античному искусству..) — отличался поразительным демократизмом и пренебрежением к деньгам: все значительные средства, посылаемые Варваре Николаевне с юга ее матерью — богатой землевладелицей, почти всецело уходило на дела благотворительные: — на помощь голодающим, работу в тюрьмах, на организацию «Ночлежек» для «Хитрова Рынка», на организацию Рабочих Клубов и устройство деревенского Театра.

Но, конечно, основным решающим условием осуществления материнского желания — видеть в ее Коле в будущем «профессора» — было стихийное влечение мальчика к живой природе в ее высших представителях.

Сам фанатически преданный любви к пернатым с самых ранних детских лет, я чувствовал, что, бывши десятью годами старше моего ученика, я уступаю ему в беспредельной преданности нашим любимцам.

Помню, как сейчас, хотя прошло с тех пор шестьдесят лет, то беспримерное усердие, которое вносил мой ученик в бесхитростную технику изготовления птичьих «тушек», то старание, что вносилось им при заполнении «этикеток», несравненно большее, чем при писании школьных ученических работ.

За время пары лет нам удалось пройти подобие элементарного «Зоологического Практикума», проделав вскрытия главнейших представителей животного царства. И, однако, первой, подлинной любовью Коли оставались все же птицы.

Таково было первое мое знакомство с домом Бобринских. Доселе помню Колю Бобринского милым темноглазым мальчиком, почти еще ребенком, в черной курточке с ременным кушаком, (— ныне — известнейший фаунист-зоолог, бывший профессор Московск. Университета, автор ряда замечательных работ, давно известных за пределами нашей Страны.)

Так продолжалась наша обоюдная симпатия и к птицам и к Воскресным встречам, без особой близости вне этих встреч, когда в середине лета 1905 года Коле Бобринскому довелось значительно упрочить свое юное призвание а одновременно содействовать и упрочению моего.

В виду закрытия московского Университета в связи с тогдашней Революцией, мне удалось впервые, ранней весной 1905 года выехать за границу для ознакомления с зоомузеями Западной Европы и работы над морской фауной по лабораториям приморских станций Вилла-Франки (Южной Франции) и Гельгоlanda, островке в Немецком море.

К величайшей моей радости, работая в Лаборатории последнего, я получаю извещение, что Коля Бобринский вместе с учителем своим (ныне покойным одноклассником моим по 7-ой гимназии, Н.А. Сильверсваном) собирается по желанию В.Н. Бобринской, проехать в Англию для ознакомления с ее Естественными музеями под моим личным руководством.

А поскольку Гельголанд лежал на линии рейса в Лондон, наша встреча намечалась именно на этом острове, что дополнительно оправдывалось тем, что именно для орнитологов он пользовался давней славой по имеющемуся на нем Музею имени Генриха Гэтке, 40 лет усердно наблюдавшего пролеты птиц над этим островом.

Посещением этого Музея, посвященного залетам оперенных странников, да скромного Аквариума исчерпывалась польза пребывания на Гельголанде, и на очереди было посещение Лондона, этой конечной цели Колиного путешествия.

Перефразируя слова несовременного поэта, мы могли тогда сказать:

Мечтою нашей был Музей Британский

И он не обманул нашей мечты!

Лондон... древняя столица «Родины Орнитологии», поскольку ни в одной стране Земного Шара к миру птиц и вообще животных интересы не присущи в такой степени, как в Англии.

Суровый, мгlistый при обычных и традиционных описаниях, Лондон встретил нас приветливо и солнечно.

И обращаясь к основной и главной цели нашего Лондонского пребывания, должно сказать, что все оно почти всецело посвящалось посещению Британского Музея, именно его Естественного-Научного Отдела, размещенного в великолепном здании на улице Кромвеля в Южном Кенсингтоне.

Изо дня в день, в течение доброго месяца, мы с Колей первыми входили в величавые «романские» хоромы Кенсингтонского музея, чтобы едва ли не последними его покинуть.

Весь животный мир со всех концов земли в нем был идейно претворен: плод необъятного труда и знания.

И все же, не обширность этого собрания поразило меня в такой степени, как «Вводный Зал» Музея, посвященный, правда, лишь эскизному показу некоторых общебиологических закономерностей в животном мире: ряд витрин, наглядно поясняющих явления «Изменчивости», «Покровительственной окраски», «Диморфизма»...

Освящался этот небольшой, но поучительный подбор чудесной статуей, стоящей на площадке лестницы, ведущей к верхним этажам Музея, — беломраморной статуей **Чарльза Дарвина**, изображенного сидящим в кресле и спокойно-вдумчиво взирающего на лежащее у его ног собрание животных форм, познанию которых он так беззаветно посвятил всю свою жизнь.

Этот ряд витрин — при всей эскизности их содержания, и эта беломраморная статуя великого ученого явились для меня моментом знаменательным для всей моей последующей жизни, «решающим мгновением» — по выражению Стефана Цвейга: местом и моментом зарождения будущего **Дарвиновского Музея** в Москве.

И в самом деле: ни штудирование (с полупониманием!) мальчиком-подростком сочинений Дарвина; ни лекции о нем, читавшиеся Мензбиром с могучей силой убеждения и блеска, не дали мне того, чем вдохновили меня Вводный Зал и мраморная Дарвинова статуя в стенах Британского Музея в сочетании с «дарвинистической», **идейной** экспозицией объектов.

Ни лазурный край Ривьеры, мною перед тем покинутый с его чудесной пелагической «хрустальной» фауной, ни внимание лекциям виднейших дарвинистов Западной Европы не дали мне и сотой доли вдохновения, не предрешили в такой мере моего призвания, как терракотовые стены Кенсингтонского Музея, его «Вводный зал» и мраморные изваяния великих вопрошателей Природы.

Сочетание дарвинистических идей с их вещным претворением, превращение музейного собрания вещей — в Музей отображаемых чрез них идей и обобщений — такова была новаторская мысль, мне внушенная далеким Лондоном.

И эту мысль я, как величайшее сокровище, воспринял и привез в Москву, как лозунг завоеванного вновь призвания.

Заметить следует, что еще года за два до отъезда за границу мой присущий с детства энтузиазм в деле собирания зоологических коллекций, как и вообще мой интерес к музеям несколько померк. Понятно — почему.

Бесцельным, неоправданным стало казаться мне простое «собрание».

Как ни влекла меня по прежнему причудливость и красота животных форм, особенно ее пернатых так чудесно отраженных в Лоренцевском мастерстве — конечный смысл накопления этих подобий обликов живых существ все более терял свою оправданность. Для голой «Систематики» я потерял влечение, конкурировать с музеями систематического типа — было безрассудно из-за территориальных трудностей.

Внесение нового начала, именно «Дарвинистического» сразу устранило все мои сомнения, научив, как можно демонстрацию вещей и фактов заменить показом обобщений и идей в их вещном и фактическом отображении.

Такова история возникновения идеи Дарвиновского Музея, зарожденной и оформленной на родине великого ученого. **Без посещения Лондона — не было бы Дарвиновского Музея в Москве.**

Тем любопытнее, что самая поездка в Лондон продиктована была мотивами, довольно неожиданного свойства. Сам я, по недостатку средств, не собирался в Англию. Три месяца пробыв на Юге Франции, работая над фауной Вилла-Франкской бухты, посетив главнейшие музеи Австрии и Германии и ряд крупнейших дарвинистов того времени (Геккеля, Вейсмана, Циглера), я собирался к возвращению в Москву, когда, работая на Гельголандской Био-Станции, так неожиданно мною получено было приглашение В.Н. Бобринской — сопутствовать ее сыну в Англию для руководства его в деле изучения ее музеев.

И, однако, самая поездка Коли Бобринского за границу обусловлена была причинами, довольно необычными.

Причины эти были более, чем прозаичны.

Дело в том, что накануне путешествия, весной того же года Колю Бобринского постигла неудача на одном из гимназических экзаменов, а именно, по **химии**, — науки в высшей степени почтенной, но к которой не лежали интересы юного зоолога.

Можно уверенно сказать, что всякая другая мать не вздумала бы поощрять такую неудачу заграничной поездкой.

Но не то — Варвара Николаевна.

Поняв, что эта небольшая неудача в состоянии ослабить Колино влечение к науке, и что обеспечить будущую направленность к идейной жизни можно всего лучше, показав идейную культуру на ее высоких, ярких образцах, — Варвара Николаевна посылает сына в заграничную поездку, и при том не в качестве туриста, но для изучения Британского Музея. А поскольку в качестве лица, сопровождающего был его учитель, человек очень культурный, но юрист по своему образованию, руководителем занятий Коли по Естествознанию было естественно избрать меня.

Мое знакомство с Англией и, в частности с ее прославленным Музеем, ставшим столь решающим для основания мною **Дарвиновского Музея**, оказалось, таким образом в конечном счете обусловлено «Провалом» Коли Бобринского на экзамене по Химии! Во истину один из тех капризов или парадоксов, на которые порою так щедро бывает жизнь отдельного лица и даже целого народа!

Но не только зарождением самой идеи Дарвиновский Музей неразрывно связано с именем Варвары Николаевны **Бобринской** — ее отзывчивой и просвещенной помощи наш Дарвиновский Музей обязан и дальнейшим своим ростом и особенно в течение первых восьми лет его существования, до передачи в дарственном порядке Высшим Женским Курсам.

Выражаясь языком гротеска, можно было бы сказать, что в продолжении ряда лет музей имени Дарвина поддерживался в широчайшей степени в меру включения его в число «клиентов», или «опекаемых» Варварой Николаевной, дотоле обнимавших обитателей «ночлежек», безработных, или «босяков Хитрова Рынка».

И хотя самые первые шаги по собиранию зоологических коллекций исторически восходят далеко назад, к исходу прошлого столетия (1896) и опирались о «карманные деньги», мне даваемые моей матерью; хотя позднее мой «бюджет» повысился продажей чулеч моей собственной работы, а значительно позднее от дачи уроков в состоятельных домах и переводов диссертаций на иностранные языки, не говоря о времени по окончании Университета и солидных гонораров в Высших Школах, гонораров, уходивших полностью на нужды моего Музея — все же в продолжении ряда лет Варвара Николаевна регулярно и безотчетно субсидировала Дарвиновский Музей.

Особенно незаменима была ее помощь, когда дело шло об экстренном приобретении из заграницы редких и особо ценных экспонатов.

А в тех случаях, когда мои музейные вожеления превышали временно наличные ресурсы и возможности Варвары Николаевны, как, помнится, для приобретения из Германии чулеча огромного Гориллы — я чрез посредничество Варвары Николаевны получил потребные **три тысячи** рублей (в тогдашней золотой валюте!) от известной по своей общественной работе в бывшем Петербурге Софии Владимировны **Паниной**.

Подобным образом все первые восемь лет существования Дарвиновского Музея (1905—1913) — до передачи мною Музея Высшим Женским Курсам, протекали под финансовым и нравственным «протекторатом» чуткой и отзывчивой Варвары Николаевны, не в пример тем «именитым» представителям московского купечества, к которым я порою обращался, уходя от них с тяжелым чувством оскорбленного «протектора».

Евгения Александровна Котс

Заключение

В виде заключительного слова, выражающего сущность вышеприведенных мемориальных очерков и самое их оправдание, да будет мне позволено вернуться к мыслям, приведенным в нашем «Предисловии», связав его с созвучным ему Эпилогом:

— Я собрал и использовал все, что видел, слышал, подмечал.

Мои труды вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умницами и глупцами; детство, зрелый возраст, старость — все приносило мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свои уклады жизни; часто я снимал жатву, посеянную другими, мой труд — труд коллективного существа...

Гете. «Борьба за реалистическое мировоззрение». — В.О. Лихтенштадт. — Труды Социалистической Академии. Госиздат. 1920. Стр. 77.

— Гете.

«Первым и последним в человеке да будет его деятельность».

— Гете. — (там же. Стр. 389)

«Самым верным остается всегда стремление превратить в дело все, что есть в нас и у нас; пускай затем другие судят и рядят об этом, как им угодно и как они могут.»

— Гете. Там же. Стр. 387.

«Только одно — несчастье для человека... — когда в нем укрепляется какая-нибудь идея, не оказывающая влияния на активную жизнь.»

— Гете. — Там же. Стр. 388.